

**Военные
Приключения**

РЕЙД ЧЁРНОГО ЖУКА



И. МАКАРОВ А. ГОРЯЙНОВ

Военные приключения

Алексей Горяйнов

Рейд «Черного Жука» (сборник)

«ВЕЧЕ»

1931, 2006

Горяйнов А. Г.

Рейд «Черного Жука» (сборник) / А. Г. Горяйнов — «ВЕЧЕ»,
1931, 2006 — (Военные приключения)

Разные времена – разные судьбы. Для Игнатия Багровского – все в прошлом. У бывшего офицера остались только кличка Черный Жук да Россия, которую он беззаветно любит и яростно ненавидит. А новобранец Артем искренне не понимает, почему он должен рисковать собой, и дезертирует, не успев принять первый бой. Немало придется ему пережить, доведется побывать во многих переделках, чтобы понять, что спасение собственной шкуры – далеко не самое важное в жизни.

© Горяйнов А. Г., 1931, 2006

© ВЕЧЕ, 1931, 2006

Содержание

Рейд «Черного Жука»	6
Часть первая	6
Часть вторая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Алексей Горяйнов, Иван Макаров

Рейд «Черного Жука» (сборник)

© Макаров И.И., 2007

© Горяйнов А.Г., 2007

© ООО «Издательский дом «Вече», 2007

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

«Мы не можем отказать русскому народу в любви и в братской помощи».

Из воззвания папы Пия X

Рейд «Черного Жука»

Часть первая

«Приказываю явиться немедленно». Далее следовала подпись «ПР. Воробьев».

А что такое «ПР»? Смешное, напыщенное «ПР». А главное, каждой собаке известно это «совершенно секретное» учреждение.

Недавно я разговаривал с русским железнодорожником. В форме злой шутки я предрекал скорую гибель большевиков и, взглядываясь в него, намекнул:

— Вас взорвут изнутри наши.

Он снял треух, почесал одним пальцем у себя за ухом и, снисходительно улыбаясь, отпаривал:

— Уж не «Пы-Ры» ли ваша нас взорвет?

И спокойная уверенность железнодорожника снова вызвала во мне знакомый холодок страха и чувство обреченности. Теперь, когда я смотрю на подпись на телеграмме, невольная злоба зарождается во мне. Злоба на беспомощность, на эфемерность этого несчастного «ПР».

— «Приказываю... ПР... Воробьев», — выпячивая губу, произношу я. — Приказываю... немедленно... П... Р... Воробьев.

Потом озлобленно рву телеграмму. Я не признаю никаких «ПР»... «ПР» и хотя бы даже «РПР». Больше я не повинуюсь никому.

Теперь в каждом государстве есть какое-нибудь «всероссийское «ПР»... «РПР»... или вообще какая-нибудь чертовщина из трех-четырех заглавных букв.

Каждая страна держит и содержит нас, «обиженных большевиками». Даже Китай. Нам уже нет почета. В каждой ноте Советскому правительству от нас отрешиваются, но, ссылаясь на что-то «международное», держат нас. Держат и содержат.

Я изорвал телеграмму и сказал, что я не повинуюсь, когда мне приказывают. Но все-таки я приехал в Харбин и остановился на Сквозной улице около почтового отделения у своего верного «личардо», у Андрея-Фиалки.

Андрей-Фиалка туляк, бывший мастеровой. Настоящая фамилия его Бровкин, но никто его так не зовет.

Высокий и хмурый, он всю жизнь мечтает насадить по всей земле «вчастую» вишневые сады и при помощи этих садов «искоренить зло на миру». Он большой ворюга, к воровству относится с презрением и радуется лишь тогда, когда уведет хорошую лошадь. Но верней его нет человека.

С ним в паре часто работает цыган Алаверды, или полностью «дядя Паша Алаверды».

Дядю Пашу Алаверды я встретил во дворе Андрея-Фиалки на «мезомима». Он был пьян, сидел среди двора, плакал и, беспрестанно ударяя себя в грудь, твердил одно и то же:

— Крест несущ... Крест несущ... Ой, тяжкий крест несущ!

Андрей-Фиалка сидел в стороне на лавочке и, опустив между коленками свои длинные обезьяньи руки, — так что пальцы касались земли, — приговаривал, исподлобья глядя на цыгана:

— А и дура-мама, дура... А и дура.

Заметив меня, он степенно поднялся, одернул гимнастерку и сумрачно произнес:

— Здравье желаем, ваше скородье.

Я говорю ему:

— Андрей, теперь я не «скородье», а просто так... «хозяин». Настоящий хозяин. — И со злой печалью добавляю: — Настоящий русский хозяин на китайской земле.

— А и дура-мама... третий час подряд ревет, — поворачиваясь в сторону цыгана, говорит Андрей.

Мы проходим к нему. Андрей холостяк, потому что «с бабами никакого сладу».

— Вызвали, — сообщаю я ему, так и не дождавшись вопроса. — «ПР» Воробьев приказывает немедленно явиться.

— Какая болячка приспела? — спрашивает он. Спрашивает лениво, нехотя. Видно, что ему совсем неинтересно, какая именно «болячка приспела».

— Видно, за зимнее... Тебя не трогают?

— Зимнее? — не спеша тянет он и изумленно вскрикивает: — Дык кому же ж нужно это зимнее? Вша, дура-мама, а не дело.

Мне становится страшно оттого, что на это «зимнее» он реагирует с такой легкостью.

Случилось это в январе. За месяц до этого мы угнали на китайскую территорию две тысячи овец у советского пограничного совхоза.

Мы — это я, Андрей-Фиалка, дядя Паша Алаверды и два пастуха-монгола.

Кража прошла благополучно, потому что ей покровительствовала не только «ПР», но кто-то более могущественный. Овец продали английской «Хладобойне», и мы получили от «ПР» русскими деньгами по 50 копеек за голову. Мы выполнили это как «задание», в счет гарантии, обеспечивающей наше «право на жизнь» на чужой территории.

Деньги мы пропили. Пропили бесшабашно, буйно, вовсе не думая о завтрашнем дне.

Тогда же я заметил, что за нами следит шпик от «ПР».

Мы пили у моего знакомого в деревне Ла-О-Хан, у беглого семиреченского казака. Его припадочная жена жалась ко мне плечом. Она до крови искусила себе губу и, часто сплевывая окровавленную слюну, страстно пела:

Ды-далико в страни иркуты-ский...

Я пил и все время прислушивался. Потом внезапно встал и выбежал в сени. От двери поспешно отскочил человек в кожаной куртке и в нагольных сапогах, прыгнул в хлев.

Я запер за ним тяжелую дверь на засов. Потом вернулся в избу и сказал казаку:

— Передний хлев ты, Артемий, денька два не открывай.

Он понял и смолчал. И когда я сел, его жена достигла своего. Я не сопротивлялся, и она, лихорадочно вздрагивая, закатила глаза, облокотилась и забормотала:

— Не откроем, голыбь, не откроем-им, — и опять запела:

...Ды-да-лико в страни ирку-тыский...

Утром, когда мы уезжали, в кровавом тумане всходило три солнца. Спиртовой градусник показывал —43°. В тяжелой дохе мерзли ноги.

Там, в хлеву у Артемия, замерзал человек. Впрочем, он, может быть, уже замерз, когда мы уезжали. Мне несколько раз приходилось замерзать — ни с чем не сравнимые муки. Кажется, что кости высверливают тупым угловатым сверлом. Сначала в ногах, потом в бедрах. А когда на несколько минут немилосердно заносит нижняя челюсть, тогда в теле начнется огненный зуд. Теряешь сознание. Близок конец.

Выезжая, я подумал: «Носит у него нижняя челюсть или еще нет?» Потом представился седой, покрытый инеем угол хлева.

Чужие муки меня давно уже не трогают.

Очень много сигнальных кнопок в кабинете у Воробьева.

По две, по три и даже по пять штук в коротеньких черных или коричневых брусочках, от которых тянутся в разные стороны тонкие зеленые жилки проводов. Я знаю, что это уловка.

Все это декорация, ставка на то, чтобы ошеломить посетителя таинственностью. И к чему эта огромная разноцветная ваза, похожая и на китайского дракона, и на русского петуха?

В углу, на диване, сидит английский морской офицер. Нас знакомит Воробьев. Я не разобрал фамилии офицера. Но я знаю: в этих учреждениях фамилии всегда называют так, чтобы никто их не расслышал и не понял.

Воробьев говорит отрывисто: опять-таки хочет показать, что он ни одну лишнюю секунду не может пропустить даром.

— Садитесь.

Меня злит чопорность офицера и надутая официальность Воробьева. Я отвечаю грубо, на «ты»:

— Если ты спешишь, я уйду.

Воробьев смущен, исподтишка глянул на офицера. Англичанин притворяется, что не заметил.

О, выстуканная сухая подошва! С мучительным наслаждением я бы дал ему в морду. За что?

За все. За то, что я не в России, а в Китае, за то, что я не хочу сидеть тут и разговаривать с Воробьевым, а вот сижу и разговариваю.

Разговариваю при ненавистном свидетеле.

Воробьев нажимает одну за одной несколько кнопок. Никто, конечно, не вошел. Он сразу меняет тон и говорит так, будто бы он мне большой друг:

— Игнаша, нужен конный рейд... в Россию.

— Конный? — насмешливо спрашиваю я. — В Советский Союз?

Воробьев смущенно смотрит на англичанина, снова нажимает кнопки. Поднимает глаза на меня. Во взгляде ненависть и мольба. Он говорит мне глупую лесть, обращаясь к англичанину:

— Этот офицер принимал очень близкое участие в Мамонтовском рейде.

Англичанин хочет казаться презрительным, но я вижу его жадное и завистливое любопытство. Он топорщит губу — это глупое, ограниченное, всему миру наскучившее выпячивание нижней губы.

Я делаю три шага в сторону, вытягиваюсь перед Воробьевым и закрываю от его глаз англичанина спиной.

Решил я в одно мгновение. Ненавистная мне самому черта в моем характере: все решать в одну секунду.

— Сколько предположено сабель? — почтительно и деловито спрашиваю я.

— Сто — сто двадцать, — отрезает Воробьев.

— Люди набраны?

— Да.

— Кто они?

— Как сказать?.. Больше офицеры... Люди, во всяком случае, убежденные и...

Я соглашаюсь только при одном условии: все сто двадцать я наберу сам.

Воробьев пожимает плечами и откидывается на спинку кресла, чтобы взглянуть на англичанина.

Я наклоняюсь вправо и вновь загораживаю офицера. Тогда Воробьев решительно говорит:

— Дело твое, Игнаша. Но... — Он снова пытается взглянуть на англичанина. Снова я подвигаюсь вправо и перевожу разговор на другое:

— Мне нужно полтораста коней.

Воробьев опускает голову. Отвечает он не сразу.

— Лошадей, Игнаша, нет... Нету коней, Игнаша.

— Хорошо, — говорю я, — лошадей я пригоню. — И круто поворачиваюсь к англичанину. Он не успел принять позу, выражающую пренебрежительную рассеянность.

Я говорю церемонно:

— Извините, сэр, я очень сожалею, но прошу вас удалиться. У нас предстоит военная беседа. Вы как офицер понимаете меня.

Он быстро вышел. Воробьев растерялся вконец и воскликнул тихо:

— Зачем ты?.. Ведь это...

— Могу вернуть... — намекая срезать я его. Молчим. Я сажусь и говорю:

— Знаешь, Воробьев, какой случай: зимой к Артемию залез вор в сенцы. Я вышел, а он в хлев. Я его запер там, он и смерз начисто.

Воробьев не хуже меня знает печальную карьеру своего шпики. Он говорит мне:

— И сволочь ты, Багровский.

— Но и ты сволочь неплохая, — улыбаясь, отвечаю я.

От Воробьева я ушел затемно. Недалеко станция. Большая площадь перед вокзалом сплошь залита бледно-красными движущимися огоньками. Это фонарики на колясочках джени-рикши. Ни людей, ни колясочек не видно в темноте.

Огоньки похожи на паучков, бегающих на очень высоких, тоже невидимых ножках.

Прихожу на площадь. Меня окружают босые, рваные джени-рикши. Их худые лица почти неразличимы в полумраке.

Они наперебой предлагают себя в качестве лошади. Страшная конкуренция: я подхожу к одной из колясочек, мне кричит кто-то:

— Капитана, нет садися. Он нога ломайла, шибыха нету бегать.

Иду к другой — тот же голос:

— Нет садися, капитана, гылаза нету видеть. Мала-мала падай.

Я заметил кричащего и подошел к нему.

— Капитана, мадама хотит? Русска мадама, китайска, японыска. Шибыха красивый мадама.

Беру его. Он мчит меня. Я бесцельно смотрю на его мелькающие в полумраке голые икры и думаю о рейде.

Что мне дал Воробьев со своим англичанином? Ничего, кроме задания: проникнуть в пограничную область, деморализовать население, используя «антисплошноколхозные», как у нас говорят, настроения, поднять крестьянское восстание и направить их на разгром военных городков. Безотказно дают оружие, новенькое, с иголки. Этим добром хоть завались.

Вот и все. Впрочем, не все. Еще кличку «Черный Жук». Видите ли, какая у нас постановка дела: «по внутренним законам «ПР» каждый сотрудник носит кличку».

Мне давали людей. Людей, идущих по убеждению. К черту эту сволочь! Я наберу людей, идущих только «ради заработать». Вот «убеждение», выше которого ничего нет. Чем я не марксист-материалист? Не правда ли: материя, а не дух. Нажива, а не идейность. Андрей-Фиалка этот вопрос решает так: «добудешь — возьмешь, убьют — помрешь».

Мою лично «идею» я знаю отлично.

Во-первых: я иду бороться за «право на лень». Овцы, которых мы угнали из совхоза, дали мне «право» ничего не делать в течение восьми месяцев, а главное, дали мне право грубить Воробьеву и — невыразимое наслаждение! — выгонять вон английского офицера.

Во-вторых: я хочу истязать Россию. Из-за ревности однажды острой плетью для гонимых собак я бил любимую женщину.

Бил я ее редкими, «выбирающими» ударами. У нее началась рвота. Мне стало противно стегать ее дольше.

Так же хочу я истязать Россию.

Я ее люблю самой большой любовью и ревную самой страшной ревностью.

В одном из переулков джени внезапно остановился и упал передо мной на колени.

Я не понимал, в чем дело.

— Капитана... капитана... твои говори: моя твои фы-сегда вози... капитана, моя тебе деньги мала-мала давай... капитана. — Он сорвал с оглобелки коляски ящичек с деньгами, достал несколько монет и сует их мне.

Я понял: впереди шла орава китайских солдат. В большинстве плюгавые мальчишки-добровольцы. Они орали песню о том, что «родителей надо почитать, как почитают великих». Джени просил меня сказать им, что он мой постоянный слуга, иначе его ограбят и избьют.

Орава поравнялась с нами. Кто-то крикнул по-китайски:

— Остановись, ты, питающийся червями и падалью.

Джени, пользуясь моей защитой, смело закричал им:

— Я каждый день досыта ем. Меня кормит вот этот мой божественный господин, у которого я служу.

Несколько часов спустя за эту мою «услугу» джени избавил меня от больших неприятностей. Наверное, он спас мне жизнь.

Я сидел в заведении, куда привез меня джени, полупьяный, с маленькой, похожей на ребенка японкой.

Я учил ее матерно ругаться по-русски. Она повторяла. Выходило у нее ужасно нелепо и смешно, так как по содержанию брани на нее падала роль мужчины. Я хохотал. Она сжимала кулачок и, смеясь, пыталась меня ударить. Я ловил ее кулачок и запихивал себе в рот до самой кисти.

Неслышно, как тень, ко мне скользнул мой джени.

— Капитана, — торопливо зашептал он, — моя тебя вези скоро, скоро... Твоя кради буди...

Я потребовал, чтоб он сказал по-китайски. Оказалось, он пронюхал откуда-то — о, эти джени, кажется, они все разнюхают! — что меня хотят «украсть» и что уж приготовлен зеленый закрытый автомобиль.

Я не понял, кто именно хочет меня «украсть». Но сам я несколько раз «воровал» людей по заданиям Воробьева. Это страшно просто: приходишь под видом правительственного лица, вежливо зовешь для сверки паспорта, а в закрытом авто наставляешь дуло браунинга и говоришь:

— Вы, конечно, понимаете, что выстрел и звук газующей машины различить невозможно. — Вот и все.

Я быстро скрылся. Джени повез меня галопом. Я видел: когда мы сворачивали из переулка, к заведению подъехал закрытый зеленый авто.

Джени отвез меня к Андрею-Фиалке и не хотел брать денег.

— Твоя, капитана, шибько хороeso. Шанго шибько, твои русски шанго.

Я говорю ему озорно:

— Я самый настоящий русский, большевик.

— Большевик? Капитана, мои зовут Люи Сан-фан, тебе шибько шанго, капитана.

Люи Сан-фан в переводе на русский язык означает «большое душистое дерево». Я называю его по-своему:

— Вонючая Стоеросовая Дубина, я такой аграмаднейший большевик. Понял, Дубина Стоеросовая Вонючая?

Он ухмыляется и делает вид, что поверил мне.

— Хе-хе, — смеется он.

— Хочешь поехать со мной в Россию? — спрашиваю я.

Он по-прежнему ухмыляется и так же смеется:

— Хе-хе...

Андрей-Фиалка ожил. Радует ли его нажива, или же страшная душа его тоскует о вишневых садах, ради которых он всегда готов идти куда угодно и чего-то искать. Его страшно забавляет то обстоятельство, что мы поедem под видом красноармейского отряда по китайскому Трехречью. Для этого мы будем двигаться с русской стороны и представлять «большевистский» отряд, «нагло ворвавшийся на чужую территорию», грабить и жечь мирное население, то есть учинять те самые «большевистские зверства», о которых будут кричать газеты всего мира: вот, дескать, какова практика большевистской проповеди о том, чтоб перековать мечи на плуги и учинить на земле мир.

Потом в Трехречье мы должны «сгинуть», под абсолютным секретом уйти на восток и уж здесь перейти границу.

Вчера я согласовал с Воробьевым проект структуры отряда. Не потому, конечно, что от меня этого требовали, а потому, что самому мне хотелось щегольнуть своим «военным талантом». Сто человек я разбил на двадцать пятерок. Каждая пятерка знает только свою обязанность: пятерка кашеваров, пятерка коноводов, пятерка поджигателей и т. д.

В отряде будет четыре томсона, четыре этих окаянных ручных пулемета, выпускающих по 875 кольтовских пуль в минуту.

Пулеметы будут: у меня, у Андрея, у дяди Паши Алаверды, на четвертый я отыщу тоже «абсолютно верного». Наверно, Артемия. В случае бунта мы в одну минуту уничтожим весь отряд.

Сегодня я работаю над картой. На столе у меня, справа, — молоко, сыр, масло и бутылка с коньяком. Я выпиваю коньяк с молоком и без хлеба ем сыр, густо намазанный маслом. Это мой «божественный нектар». Ничто так сильно не возбуждает мой мозг, как эта странная смесь.

На дворе у нас стоит грузовик, присланный специально для того, чтобы своей газовой глушить учебную стрельбу из томсонов.

Цыган стреляет с поразительной меткостью. Он еще ничего не знает о рейде, но готовиться ему велел Андрей. Они приходят ко мне. Цыган приносит мишень. Мишень у него разбита в щепки и похожа на лучистую звезду.

— Вот машинка, вот машинка! — восторженно кричит он.

Андрей-Фиалка сконфужен: он стреляет из рук вон скверно.

Он садится закурить, но внезапно мрачнеет, не закулив, снова поднимается, подходит к сундучку и вынимает оттуда свой «гвоздик» — так он называет прямой германский тесак.

Дядя Паша Алаверды мгновенно бледнеет; роняет раздробленную мишень и вылетает вон из комнаты.

Андрей-Фиалка мрачно смотрит ему вслед и через минуту мычит:

— А и дура-мама. А и дура.

Вернулся Артемий. Я его посылал «пошукать». Он переходил границу и теперь докладывает:

— Кони, я прямо скажу, отменные. Селезни, прямо скажу, а не кони. У Монголии скупают, и все под казенным тавром.

Он приехал с женой. Здесь она держится со мной робко. Кажется, будто ей не верится, что это она была там, у себя дома, так близка со мной и ластилась ко мне в своей наглой страсти.

Артемий отвечает мне:

— Охрана?.. Что — охрана? Охрана, она и есть охрана. Я прямо скажу: хреновая охрана. Она очень низко и покорно кланяется и вторит ему торопливым шепотом:

— Никакой охраны... никакой... — Ей хочется сказать больше, но она робеет и умолкает.

Здесь, в городе, она какая-то жалкая и холодная. Я хочу узнать, не была ли и она уж с Артемием, но вспоминаю о кутеже с ней. Мне становится противно от того, что в пьяном буйстве ласкал ее, кусал ее горячее, до липкого влажное тело, и она с тихим стоном покорно переносила это и ждала.

Я отхожу к столу и говорю:

— Хорошо, Артемий, готовься. — Потом нагибаюсь над «Правдой» и синим карандашом обвожу сообщение о беспорядках на Китайско-Восточной железной дороге.

Оба бесшумно уходят. Я слышу, как они шепчутся за дверью. Меня раздражает их шепот, а главное то, что они так долго не уходят.

Потом полураскрылась дверь, и Артемий спросил:

— Ходок прикажете или верхами?

— Ходок! — почти кричу я, не глядя на него, и опять бесцельно обвожу вдоль синей черты новую, красную.

— Ходок, ходок! Я прямо скажу — ходок обстоятельней.

Когда он закрывал двери, я поднял голову. Через плечо Артемия смотрела Маринка. Взглядом благодарила меня. Я понял, что Артемий не хотел ехать на полке, но настояла она и теперь увяжется с нами.

Нервничая, я в третий раз очерчиваю в «Правде» заметку о беспорядках на «К.В.Ж.Д.».

Сегодня и в наших газетах — а впрочем, где мои газеты: там, в России, или здесь? — появились заметки о большевистских бесчинствах на «К.В.Ж.Д.».

Кому же верит читатель? «Правде» или нашим газетам? Сообщения в «Правде» носят характер спокойной уверенности. Наши газеты выдают себя чрезмерным криком «караул».

А может быть, мне так кажется потому, что я знаю, где фальшь.

Иностранные газеты молчат. Немудрено. Большевики научили их некоторой осторожности.

Эти Тришки в чужих кафтанах ждут чьего-то знака. Потом завоюют хором: «Вот подлинная маска большевистского миролюбия».

Меня часто тревожит безумная идея: миру нужен Батый. Нужно, чтобы Батый повел дикие полчища на Европу и сжег бы города. Тогда люди начнут новую культуру, новый «золотой век».

Какой он будет, этот «новый век» — все равно. Но миру нужны огонь и кровь, иначе люди задушат друг друга своей мудростью. Почему я знаю, что сейчас где-нибудь в Англии или во Франции не изобретен удушливый газ, пахнувший розами или ландышами? И кто уверит меня, что сейчас я не услышу вдруг этот сладкий, нежный запах смерти?

Тем более что сейчас миром управляют «две кнопки», смертельно ненавидящие друг друга. Одна кнопка в Москве, а другая «где-то».

Порой эта идея так мучает меня, что я мысленно восклицаю: «Где есть эти дикие, все-сокрушающие орды?»

И отвечаю себе: «Их нет». Люди везде поклоняются лести и исповедуют торговый обман. Это они называют «культурой». И тогда в бессилии я низвожу мою большую, страшную идею до маленькой, и горделивый гнев удесятерит мои силы: это лучшие минуты, в которые я предугадываю все «возможности рейда» в Россию.

Вчера получили телеграмму от Артемия. Вчера же туда уехали Андрей-Фиалка и дядя Паша Алаверды.

А сегодня, когда я вышел из дому, чтоб ехать на станцию, ко мне подкатил Люи Сан-фан.

Он, видимо, несколько часов ждал меня у дома. Беспреданно улыбаясь и скаля свои кривые белые зубы в улыбке — поразительно однообразной, не изменяющей тоскливого выражения лица, — он подошел ко мне и сунул в руки белую, слоновой кости, расческу в блестящем, разноцветном и очень дорогом футляре.

Он, видимо, украл или нашел ее.

— Капитана, моя тебе дарин.

Я вижу, что он хочет со мной о чем-то говорить, но у него нет повода к началу.

Мне некогда, я говорю ему спасибо и иду. Но он забегает вперед и, внезапно посерьезнев, начинает мне объяснять, что расческа эта очень дорогая.

— Шибька дорог, — восклицает он.

— Я улыбнулся, и тогда он сразу заговорил, стараясь скрыть свое желание под неизменной улыбкой:

— Капитана, твоя Москва един?

Я понял, о чем хочет он говорить. Он в своей жестокой безысходности мечтает о большевистской Москве. Всем им вскружили голову легендами о Ленине. У меня мелькает забавная мысль, и я говорю китайцу:

— Слушай, Стоеросовая Дубина, хочешь со мной в Россию?

Он молча улыбается. Я знаю, что он не скажет мне «да». Он очень осторожен, поэтому я ему говорю:

— Люи, когда я опять приеду сюда, ты приходи ко мне. Тогда поедем в Россию.

— Хе-хе, — хрюкает он и улыбается. Ни за что он не осмелится ответить согласием, но я знаю, что он придет.

Холодный сухой ветер вздымает песок. Лошади беспокойны и подвижны. Сегодня их легко гнать. Дядя Паша Алаверды уверяет, что в такую погоду он «всю Рассею может обезлошадить».

Мы сидим с пастухами. Их четверо взрослых и один мальчишка лет четырнадцати. Для них мы — проезжие рабочие с Круменского маслосовхоза.

Но пастушонок сразу что-то заподозрил. Он внимательно и вдумчиво рассматривал наш ходок. Покуда мы ехали, колючие песчинки иссекли нам лица в кровь. Особенно у Маринки. То и дело кутаясь в платок, она тщательно скрывает от меня свои кровотокающие щеки.

По-моему, мальчика встревожило именно это ее беспреданное беспокойство и то, что она скрывает лицо.

В чем-то убедившись, он, стараясь быть незаметным, отходит в сторону и оттуда кличет старшего пастуха.

Но «старшой» — сонливый высокий мужик, с воспаленными, истрескавшимися губами — отмахивается от Диего. В этой пустынной степи он истосковался по свежему человеку. Видимо, ему не с кем отвести душу разговорами и некому попенять на скуку.

Он крепко и воодушевленно ругает мужиков за неподатливость. Сплевывая песчинки, попадающие ему в рот, он восклицает:

— Эт какие беспанталыки, эт какие. Уж раз затеяли сплошное государство, стало, берись все разом. То не соображает каждый, что отступленья... быть... не должно. Эт мы при общей дружности со всеми этими пятилетними делами в три года управимся. И нам тогда, я скажу, товарищи, ни одна Америка в задницу плюнуть не достанет.

Мальчишка выходит из себя.

— Дядь Гришь, дядь Гришь, поди, тебе говорят, сюда! — кричит он.

Старшой поворачивает голову, с минуту озлобленно смотрит на него и потом орет:

— Отвяжись, тудыть твою, приспичило тебе!

Мальчишка подбегает и, стараясь не вызвать у нас никакого подозрения, берет огромную бердану, которыми вооружены пастухи, и вновь отдаляется от нас. Это беспокоит цыгана и особенно Артемия. Артемий, сидя на ходке, вдруг принимается остервенело хлестать ни в чем не повинных лошадей.

Я подхожу к нему и беру с тележки томсон. Андрей-Фиалка в одно мгновение выхватил из штанины германский тесак, в пах ударяет старшего и на четвереньках, высоко задирая зад, отскакивает от него.

Рассказчик обрывает на полуслове. Он медленно раскрывает рот и ворочает языком. Точно бы под языком у него песчинка и он хочет и никак не может выплюнуть.

Глаза у него уже синие и неподвижные. Но, мертвый, он продолжает сидеть. Я вижу, как он сухим языком облизывает сначала нижнюю, потом верхнюю губу, и одно мгновение мне кажется, что он снова заговорит. Но он откидывается навзничь.

Низкорослый пастух, сидевший против него, подпрыгивает, смотрит на нас и тихо испуганно кричит:

— Ай, а-ай!

Я нажимаю гашет томсона и выпускаю по пастухам пять очередей. Андрей-Фиалка все так же, на четвереньках, подскакивает к ним и «проверяет»: в каждого он вонзает тесак и смотрит в глаза. Потом поднимается и сообщает:

— Этого, который вскочил, почитай пересекло пулями в пояснице. Штук семь влилось. А и дура-мама, вскочил.

Внезапно раздается еще один выстрел, трескучий и оглушительный.

Маринка вскрикивает, хватается за живот. Задирая вверх лицо, она смотрит на Артемия и часто-часто моргает.

В нее попал парнишка. После выстрела он бросил бердану и пустился бежать.

— Бей, чертова борода! — закричал Андрей и изо всей силы огрел цыгана между лопатками.

Цыган припадает к карабину и, целясь, бледнеет. Я внимательно смотрю на конец ствола: странное желание увидеть пулю. Я отлично знаю закон «начальной скорости» и все же каждый раз пытаюсь увидеть вылетающую пулю.

Звучит выстрел. Парнишка упал. Мы бежим к табуну. Артемий, грубо толкнув раненую жену, укладывает ее и тоже подбегает к нам. Он хочет чем-то помочь мне, но растерянно топчется и снова бежит к тележке.

Мы завертываем лошадей и галопом гоним их к границе. Впереди скачет Андрей-Фиалка: в одно мгновение он выбрал лучшую лошадь. Настигая его, несется короткий и крутой буланый жеребец; он прижал уши, завистливо и злобно визжит и заворачивает оскаленную морду в сторону, готовясь впиться зубами в круп Андреева коня.

Несколько минут косяк идет быстро и послушно. Но вот из табуна выдвигается вперед гнедой, вытянутый жеребец, вскидывает передом и впивается буланому в холку. Буланый вздыбил, вырвался и стегнул соперника задом. Потом вздыбили оба. Поднявшись на задних ногах, они, подобно собакам, впились друг в друга. Табун встал. Лошади встревоженно и строго глядят на бойцов: видимо, у жеребцов это не первая схватка за власть над косяком, только что согнанным.

Цыган подскакивает к ним и вскидывает карабин.

— Буланого не трожь! — оглядываясь, вопит Андрей-Фиалка. Но он опоздал. Раздается выстрел. Буланый взвился, а, когда опустился, передние ноги не сдержали его — он рухнул: голова у него подвернулась, и туловищем он придавил ее.

Гнедой замахал вперед, увлекая за собой косяк.

Дядя Паша Алаверды подъехал ко мне и, содрогаясь от ужаса, забормотал:

— Начальник, заколит... начальник, заколит... ой, зарежит, начальник.

Дядя Паша Алаверды серьезно опасался, что Андрей-Фиалка убьет его. Чтоб задобрить Андрея, он выкинул безумный поступок: гнедой жеребец, видимо, хорошо знал холодную стремнину Аргуни. Не добегая реки, он сразу остановился и испуганно захрапел. Лошади стеснились, задние своим разбегом подтолкнули передних к обрывистому берегу. Прыгни в воду хоть одна лошадь, и весь косяк последовал бы за ней.

Гнедой вожак мгновенно оправился. Взвизгивая, он грызет лошадей направо и налево и грудью пробивается из середины, чтоб умчаться снова в степь. За ним последует весь косяк. Вот он уж недалеко от края.

Андрей-Фиалка испуганно отскакивает с его пути. Нет зверя страшней и опасней взбесившегося косячьего жеребца.

Нет силы, могущей остановить сокрушительный бег табуна.

Еще несколько секунд — и косяк снова умчится. Навстречу гнедому жеребцу подскакивает цыган. Прямо с лошади он прыгает в табун, на несколько мгновений исчезает среди столпившихся лошадей. Но вот он очутился верхом на гнедом жеребце, визжит, взмахивает маузером и изо всех сил бьет косячего в левую скулу. Гнедой вскидывается направо и почти висит над обрывом. Дядя Паша Алаверды дважды стреляет ему в затылок. Жеребец взвывается и в конвульсиях летит под кручу вместе с цыганом.

Лошади лавой прыгают в воду и, борясь с яростным течением, плывут на китайский берег.

Я вижу, как одну жеребую кобылку закрутило течением и отнесло. Она растерялась вовсе. Выбываясь из сил, она пытается плыть против течения. В лихорадочном напряжении она выбрасывает передние ноги из воды, точно пытается «взять галопом». Но вскоре она обессилела, и голова ее медленно погружается в воду. Она выныривает и скрывается вновь, и вновь показывается и опять исчезает.

Я вижу ее огромные оскаленные зубы. Она ни за что «не сообразит», что ее спасение — плыть по течению и пристать к берегу. Ее губит «власть стада».

Когда она исчезла совсем, я оглянулся. Андрей-Фиалка стоит рядом и понуро сопит. Потом поднимает на меня глаза и мычит злобно:

— А и дура-мама...

Я спрашиваю:

— Пропал цыган?

Не отвечая, Андрей-Фиалка стегает лошадь и с кручи прыгает в воду. Цыган остался невредим. Оказалось, он прыгнул раньше, чем рухнул жеребец, и заполз под обрыв.

Андрей-Фиалка злится на него за то, что цыган с ним сегодня необычайно предупредителен и услужлив.

Я снова в Харбине. Власти «оказывают активное содействие» советской комиссии, разыскивающей угнанный мною табун, — это теперь. А два дня тому назад, когда лошадей еще не погрузили на английский пароход, они, власти, «любезно» доказывали Советскому правительству, что кража лошадей «совсем невероятный факт».

Вечером приехал Артемий и притащил с собой «поэта» — высокого серенького гимназиста из харбинской гимназии. Завербовал в отряд.

— Человек энтиресный. Душевный, — рекомендует он.

Я молча вглядываюсь в «поэта». Гимназист смущен, но «заставляет себя» быть развязным.

— Господин начальник, — хрипловато философствует он, — религия есть единственное спасение тонкости человеческой души. Пусть Бога нет, но без религии душа костенеет. Как люди могут управляться без религии? Во имя спасения религии...

Я перебиваю его:

— Вас мне не нужно.

Артемий вступает за него.

— Стишки составляет из своей головы, — добавляет он.

Гимназист высказывает новый мотив:

— Вы делаете преступление перед русской литературой.

— Гм?

— Одного из представителей ее вы лишаете возможности побывать на «большом деле» и описать потом свои ощущения.

— А вы разве знаете, зачем вы мне нужны?

Артемий решительно трясет головой. Гимназист в недоумении. Я объясняю:

— Мы идем воровать.

— Так вот я! — восклицает гимназист.

— А убить вы согласны? — из любопытства пытаю я его.

Гимназист делает обиженное лицо и высокопарно заявляет:

— Животное я не могу убить. А человека... ге... Вот курицу зарезать не могу. А человека... ге-ге...

— Я, в общем, прямо скажу, объясняю всем одинаково. Мол, «за веру поработать придется», — оправдывается Артемий.

Гимназист вызывает во мне какое-то любопытство, и я, притворяясь, что поверил ему, одобрительно соглашаюсь:

— А человека, значит, ге-ге? Это вы молодец. Курицу вы никак, а человека, значит, ге-ге. Ловко, ловко! Мне такие очень нужны.

Гимназист протягивает мне руку, но я не замечаю.

Они выходят. Артемий задержался у дверей, мнетя и сообщает степенным, верующим голосом:

— Отказала долго жить вам, — и добавляет: — Марина Федоровна.

— Разве? — невольно вскрикиваю я.

Меня почему-то испугала ее смерть, хотя я и знал, что она обречена.

Когда Артемий переплыл с ней через Аргунь на лодке, я издали посмотрел на ее меловое лицо. Я не могу ошибиться: на это у меня очень наметан глаз.

Артемий выходит на цыпочках, мгновенно потеряв мужицкую тяжесть своей походки.

Дверь он закрывает медленно и бесшумно.

Вчера встретил того английского морского офицера. Равняясь со мной, он берет под козырек, желая показать, что он считает меня равным себе.

Какая честь! Я, славянский офицер, могу поздравить себя с тем, что этот «сын Альбиона», эта выстуканная подошва, снизошел до меня.

Великодушно он говорит мне:

— Я очень люблю Россию. До войны мой отец вложил в русскую промышленность три четверти своего капитала. Я бесконечно люблю Россию, но вам надо было родиться англичанином.

Улыбаясь, я отвечаю дерзостью:

— Охотно верю, что ловкие конокрады составят честь вашей нации.

Он покорно глотает эту пилюлю и хочет узнать, как идет подготовка к рейду.

— Как обстоят ваши дела?

Я уклоняюсь от разговора и отвечаю, как истый славянин:

— Дела — слава богу.

Он отчаливает несолоно хлебавши.

Все готово к началу. Сегодня Артемий и Андрей-Фиалка отправили на пограничные бакалейки весь наш шанцевый инструмент. Люди и лошади отобраны мной самим. И то и другое — «цвет», «сливки». Люди — контрабандисты, воры и убийцы, те, кого выхаркнула большевистская Россия. Кони — полудикие, монгольские звери, затавленные советским клеймом.

И я начальник.

Вечером я уеду в «Колодцы», а потом на бакалейки.

Все готово. К чему? Может быть, да и наверное, к моей смерти. Пусть будет так. Я не верю в Бога, но у меня молитвенное настроение. Я шепчу: «Sic, ut voluntas tua!» — «Да будет воля твоя!» Я предчувствую смерть, я вижу ее темно-зеленые, бездонные глаза. Я ощущаю сладчайший запах гниения. Но — «Sic, ut voluntas tua». Я сам przygotowляю себе торжество похорон. Порой мне кажется — о проклятая живучесть человеческой мечты! — что в означенное смерти моей вспыхнет огонь и прольется кровь.

— У меня «личные дела» всех моих людей: о каждом самые подробные сведения дал мне Воробьев. Больше мне не нужны эти «секретные» документы. Я жгу всю пачку прямо на полу, около печки, и шевелю горящую бумагу носком сапога. Кожа на сапоге трескается, но мне уж не жаль сапог. Мое бешенство стихает, приходит печаль о чем-то главном, несбывшемся. Жизнь обманула меня. Меня обманывает каждый миг, каждый час, каждый день. Меня обманывает золотой закат дня — я не могу от него получить это мое «главное — несбыточное». Меня обманывает гроза, от которой содрогаются горы: как блеск зарниц, неуловимы мои желания.

Меня обманывает струна, рыдающая в темноте, — своей печалью она бережит мою тоску «о чем-то».

Проклятая доля — беззаветно любить родину, а под собой всегда чувствовать чужую землю, чужую траву, чужой песок.

Отвергнувшей меня этого я не прощу.

Я задержался до вечера лишь потому, что не совладал со своим желанием умышленно наглубить английскому офицеру, поссориться и по-русски, по-нашему, по-расейски свистнуть ему в сухую морду.

Я думал встретить его у Воробьева, но узнал, что он «куда-то» уехал. Мне не нравится это «куда-то». У английского офицера много дорог, но мне кажется, что на этот раз у него одна дорога, определенная дорога. Я уверен, что он послан в качестве «глаза наблюдающего».

Тем хуже для него. Если он встретится мне там, я пошлю Андрея-Фиалку «поговорить с ним». Он думает, что я — «наймит».

Он и пославшие его думают моими руками испробовать крепость и силу советского огня. Но это им не удастся.

«Наймитом» я не был и не буду. Марионеткой в руках людей, затевающих войну, не буду. Отвергнувшей меня я буду мстить один и сладость мук ее не разделю ни с кем.

Когда я вышел от Воробьева, ко мне снова привязался Люи Сан-фан.

— Капитана, твоя Москва бери Люи?

А я злюсь на то, что на мой «военный талант», на меня эта выстуканная английская подошва поставил грошовую ставку, а хочет получить миллионы. Он даже не рискнул снабдить меня лошадьми для отряда, а собирается получить — и «получит».

В бешенстве я маню китайца ближе к себе. Мгновение — и он летит на мостовую. Он грохнулся хлыстом и опрокинул свою колясочку. Ящичек с деньгами упал, и монеты рассыпались.

Я крепко смазал ему в самую переносицу. Так же смазал бы я английскому морскому офицеру.

Я пошел прочь, но вернулся к Воробьеву и сказал, чтоб китайца немедленно «убрали».

По-моему, эта вонючая сволочь знает больше, чем ему следует знать.

Когда я снова выходил, китаец ползал по мостовой и шарил руками, разыскивая в темноте разлетевшиеся монеты.

От Воробьева я поехал к дяде Паше Алаверды: он проводит меня до пограничных бакалеек.

Приехав, я даю ему деньги — «премия» за угнанных лошадей. Цыган крестится и кричит жене:

— Вот и добрый человек нашелся. Есть добрые на свете люди.

Я тихо говорю ему, что мы задержимся до следующего поезда. Я хочу, чтобы он сам «убрал» китайца.

Цыган одевается и уходит. Через два часа он вернулся, растерян и виновато оправдываясь:

— Сгинул... сгинул... сквозь землю провалился. Начальник, как же быть?

Я отвечаю:

— Собирайся мгновенно.

Впоследствии я узнал, что китайца он выследил в районе станции, на глухих путях, подходил к нему, но, боясь тревоги, не стрелял, а ножом у него «рука не поднялась».

На бакалейку мы с цыганом приехали утром. Сырой, осенний холод всю дорогу грыз мою душу голодной тоской. Но сейчас белое небо потеплело, и в застрехах, где нет дуновений ветра, бледное солнце греет ласково. Вспоминается весна, хочется что-то угадать в поблекшей песчаной дали.

Три низенькие фанзы постепенно наполняются людьми: с соседних отдаленных бакалеек группами и в одиночку прибывают мои люди. Я вглядываюсь в каждого. Как они все не похожи на «тех людей, о каких говорится в личных документах», переданных мне Воробьевым. Кажется, что собрались мужики — раскуривают, мирно беседуют и вот-вот дружно примутся за какую-то общую работу. Больше всего думается, что они собрались рыть общественную канаву.

Каждого из них от настоящего мужика отличает только какая-нибудь особенность в одежде: у молодого парня с жиденькой бородкой короткий зипун опоясан кавказским поясом с серебряными бляхами; угрюмый, суровый старик, известный по всей границе контрабандист по прозвищу Киряк, носит темно-зеленую тирольскую шляпу. Плотнo сидя на нарах, он внимательно осматривает всех и как бы оценивает каждого в отдельности.

Пока никто из них не знает, что именно им предстоит. Но все они приготовились «к чему угодно». Они понимают одно: своим участием они уплатят дань «кому-то» и этот «кто-то» обеспечит им «право на жительство».

С жадной радостью они уничтожили бы друг друга, но у них нет выбора. Они это знают слишком хорошо. Над ними висит постоянная угроза — «выслать на родину».

Хозяин бакалейки — пухлый кривоногий китаец — насторожен таким небывалым скоплением людей. Но не подает виду и притворяется спокойным. Зато он чаще, чем следует, пускает в ход свою короткую бамбуковую палку и бьет своих людей без причины.

У него по китайскому берегу Аргуни разбросано около тридцати мелких бакалеек, по несколько штук против каждого из больших советских сел — Олечье, Церухайтуй, Обегайтуй.

Эти лавочки — его щупальца, через них он ведет крупные контрабандные дела.

Мы строго следим, чтоб он не дал знать туда о своем подозрении. Здесь через несколько часов родится «красноармейский отряд» и двинется через разлившиеся в осеннем половодье Ган и Чинкар, «вторгнется самолично» в китайское Трехречье и там начнет свои «большевистские зверства». Поэтому так важен секрет рождения «красноармейского отряда». Поэтому все живые, не имеющие отношения к моему отряду, обречены.

Через час собрались все. Потом внезапно, точно из-под земли, появился Люи Сан-фан. Оказалось, он проехал в собашнике на том же поезде, на котором ехали мы с цыганом, а сюда примчал пешком. Он издалека робко посматривал в мою сторону, и глаза его умоляли меня. Цыган шепнул что-то Андрею-Фиалке. Андрей подошел ко мне и тихо спросил:

— Мне с ним «поговорить»?

Но меня сломило упорство китайца. Отчасти же меня забавляло то обстоятельство, что китаец, мечтающий о Ленине, о большевиках, будет послушной игрушкой в моих руках.

Вместо ответа я громко заявляю:

— Пора, Андрей!

И возглас этот точно стегнул всех людей. Все встали, засуетились. Все с покорным любопытством, однако украдкой, смотрят на меня. Они сразу поняли и почувствовали, что их начальник — я.

Артемий подошел к стогу, стоявшему близ самой низенькой фанзы, и принялся раскидывать сено. К нему молча подошли пятеро. Я понял, что это пятерка коноводов.

Доброе начало. Четкость в таком отряде, как этот, — главнейшее. Эту четкость установили Артемий и Андрей-Фиалка: Артемий — толков и распорядителен, Андрей — беспощаден.

Через минуту под сеном раскрылся люк, обнаруживая пологий спуск в огромный склад, похожий на погреб. Конноводы спустились туда, и еще через пару минут показалась первая тройка коней, потом вторая, третья...

Кое-кто из людей бросился было в склад помогать, но на них зарычал Андрей-Фиалка, и они успокоились.

— А и дуры-мамы, — ворчит Андрей, — учи, учи их, и все без толку.

Вскоре были раскрыты еще два стога, и склады быстро разгрузили.

Лошади настороженно обнюхиваются, как бы узнавая друг друга, и тихо взвизгивают. Люди быстро переодеваются во все красноармейское, а свое все складывают в кучу около стога.

Я осматриваю шанцевый инструмент: меня беспокоят подрывные средства. Я подзываю Андрея, и мы заново перекладываем пироксилин и ртуть. Кроме сухих батарей я приказал взять полевой телефонный аппарат. Это вернее. Я прикладываю два пальца к пуговкам и быстро верчу ручку — пальцы обожгло током.

— Кто? — спрашиваю я у Андрея.

Андрей-Фиалка берет у меня аппарат и кричит:

— Ананий, бери, дура-мама, адскую машину.

Из толпы, мягко приседая при ходьбе, выдвигается угрюмый Кирик и берет телефон.

— Соображаешь? — спрашиваю я.

— Как не соображать, — отвечает Ананий и вновь скрывается в толпе.

— Ананий — адская машина! — весело кричит ему вслед дядя Паша Алаверды. Люди натянуто и нерешительно смеются.

Хозяин и его люди смотрят на нас с испугом и изумлением. Несколько дней назад Артемий договорился с ним, что все спрятанное — контрабанда, в которой якобы принимают участие «видные люди». Артемий и сам простодушно верит, что он обманул хозяина. Но я знаю другое. Китайца, хозяина тридцати бакалеек, Артемию не обмануть. Тем не менее Артемий кричит хозяину:

— Говорил тебе, загогулина кривая, что купеза шанговый приедет за товаром.

День приходит к концу. В багровой натуге солнце уходит за сопки. Я слышу, вернее, я чувствую, далекие и холодные всплески Гана.

Все окружающее человек воспринимает в зависимости от своего настроения. Мне чудится, что темные воды Гана неслышно плачут и лишь изредка, не сдержав своей лютой тоски, всхлипывают.

И кажется, никто больше, кроме мутного разлива печальной реки, не плачет обо мне, о нас.

Ко мне подходит харбинский гимназист-поэт: эта глιστα понял мое настроение. Обращаясь ко мне, он говорит декламаторски:

— А вдали, чуть слышно, молится река...

Я не замечаю его и говорю Артемию:

— Возьми в передке томсон и диски.

Потом прыгаю на лошадь.

Андрей-Фиалка понял это как сигнал.

Он собирает всех людей с бакалейки и усаживает их на нары. С лошади я вижу в окно, как хозяин пытается что-то сказать ему на ухо, но Андрей неумолим.

Я выстраиваю людей и командую:

— По коням!

Звук команды будит во мне боевую бодрость.

Я кричу цыгану:

— Иди к Андрею!

Цыган понял меня. Он уходит в фанзу и на ходу вкладывает в томсон диск с патронами. Там раздается какой-то визг, потом плач ребенка, и затем я слышу, как цыган говорит Андрею-Фиалке:

— Ребеночка зачем?.. а? Ребеночка зачем?..

Потом затрещали сливающиеся выстрелы. Снова я тихо подъезжаю к окну. В нем темно. Слышится только плач ребенка. Цыган зажег лампу, поднял с полу ребенка и, неумело закутав его в какое-то тряпье, зажал этот живой сверток под мышкой.

Андрей-Фиалка «проверяет». Толстый хозяин в предсмертной судороге дрыгает кривыми ногами. Андрей наносит ему несколько ударов в живот, под ложечку.

Андрей смотрит китайцу в лицо, потом слюнит указательный палец и тычет китайцу в глаз. Я знаю это вернейшее средство «убедиться». Если глаз под сырым пальцем не даст реакции, не моргнет, значит — кончено. Андрей снимает толстое золотое кольцо с руки хозяина, повертывается к цыгану и, глядя на ребенка, нерешительно гудит:

— А и дура-мама, ну куда его теперь?

Я отъезжаю и говорю Артемию:

— Зажигай.

Артемий проворно подбегает к отряду и кричит:

— Огневики, выходи!

Пятеро спешились. Быстро растаскивают сено. Цыган и Андрей выходят из фанзы. Андрей подходит ко мне и дарит мне бамбуковую палку хозяина.

— С началом, скородье! — оживленно и даже радостно, кричит он.

С ремненным наручником палка очень увесиста и удобна. Я ощущаю неодолимое желание стукнуть ею кого-нибудь по голове, испробовать.

Весьма кстати зарекомендовать себя сразу же.

Вспыхивает пламя. Вглядываясь в лица людей, я разыскиваю гимназиста-поэта. Сейчас я придерусь к нему и огрею его бамбуковым шатуром.

Но на глаза мне попадается китаец. Он приветливо улыбается. Он страшно смешон в красноармейском шлеме. Я подъезжаю к нему ближе, и он сам высовывается вперед и бормочет:

— Капитана, моя шибыка большевик...

— В строй! — гаркнул я и наотмашь огрел его по голове.

Самое приятное в бамбуковой палке — это двойной удар. Стукаясь о голову, она как бы сама подпрыгивает и уж сама ударяет еще раз.

Потом я говорю людям:

— В случае тяжкого ранения придется добить.

Все поняли, что слово «тяжкое» тут совсем лишнее. Захватим мы лишь легкораненых. Несколько голосов повторяют, подобно суровому эху:

— Придется добить.

— Я прямо скажу — приходится добить, — решительно подтвердил Артемий.

Пламя охватывает бакалейки. Становится жарко. У нас еще есть время, и я приношу первую жертву отряду: люди спешили и разбегались подбирать «кто что». Это очень щедрый, богатый подарок.

Мы закусываем советскими консервами и вытираем руки о советские газеты. Банки из-под консервов и газеты мы бросаем так, чтоб они не попали в огонь. По нашим следам поедет «следственная комиссия» с иностранными «нейтральными» свидетелями.

И советские газеты, и банки из-под советских консервов или красноармейская пуговица — лучшие улики того, что здесь бесчинствовали не кто иные, как большевики, всюду кричащие о мире на земле.

Часа через два мы уезжаем, выстроившись гуськом по двое. Ведет Артемий. Его «родные места».

Пламя стихло. Оно никогда не выдает тайн. Мертвый свидетель.

Когда мы отъезжали, слышался пискливый и гнусавый плач ребенка, которого «определил куда-то» дядя Паша Алаверды.

Люди беспокойно оглядываются, но стараются скрыть свое беспокойство друг от друга.

Плач особенно растревожил Артемия. Он поджидает нас с Андреем и совсем без видимого повода начинает рассказывать то, что он никогда никому не говорил, — о себе.

Оказывается, у них с Маринкой был ребенок, там, в Семиречье. Артемий только что вернулся с войны. Играя с сыном, он подбрасывал его вверх и ловил. Случилось так, что ребенок выскользнул у него из рук, упал, захирел и помер. Нелепо звучит эта ненужная исповедь Артемия. Но он входит в раж и с неисповедимой горечью восклицает:

— И какое же, я прямо скажу, удовольствие душе. Ты его кверху кинешь и ловишь. А он закатится да этак оттуда тебе в ладошки горячей жопёнкой — шлеп. Никакое угодье душе не надо.

Цыган отстает, часто оглядывается и прислушивается. Я слышу, как вдали над рекой тревожно и гневно гудят в темноте гуси. Глухо и настороженно стучат копыта коней.

Андрей-Фиалка склоняется ко мне и глухо спрашивает:

— Мне вернуться?

Я молчу. Я не хочу приказать ему «вернуться», но меня беспокоит дикое положение брошенного ребенка. Я хочу остаться непричастным к его насильственной смерти. Пусть Андрей это сделает сам, без моего согласия.

Но он не понимает меня. Через сотню шагов он дарит мне кольцо, снятое с жирного китайца. Я машинально беру его и надеваю на большой палец. Подарок свой Андрей-Фиалка понимает как повод, чтобы вновь заговорить о покинутом ребенке.

— Вернуться?.. «Поговорить»? Скородье? — тихо гудит он.

Слово «поговорить», когда оно у него обозначает «определенное», он всегда произносит певучим альтом.

Артемий услышал его, понял и круто смолк. Видимо, и цыган догадался. Он быстро подтянулся к нам и насторожился. Сотню шагов мы едем молча. Все четверо мы знаем, о чем думает каждый из нас.

Внезапно Андрей натянул поводья и повернул обратно. Цыган вздрогнул и хотел что-то сказать. Андрей-Фиалка заметил это его намерение, нагнулся к нему и зарычал:

— А и дура — чертова мама.

Дядя Паша Алаверды согнулся и беспричинно задергал поводьями. Андрей-Фиалка усккал.

Втайне я вздыхаю облегченно. Видимо, оттого, что я уже несколько отвык от подобных «издержек» войны.

Мысленно я восклицаю вслед Андрею:

«Умница... умница!»

Андрей нас догнал у переправы. Он взволнован. Этого с ним никогда, или вернее — почти никогда, не бывало. Цыган все время косится в его сторону и украдкой всматривается в правое его бедро, где Андрей прячет свой тесак, «гвоздик», как он его зовет.

Начинается переправа. Несколько километров Артемий ведет нас через разлив: кони бредут по брюхо в воде, но почва твердая, песчаная, слышно, как в воде под копытами скрипит галька. В темноте кажется, что нет конца этому черному, как деготь, разливу.

Андрей ощущает неодолимую потребность что-то сказать. Он несколько раз пытается что-то произнести, но не может начать: рассказать что-либо волнующее он может только лишь «с разбегу».

Наконец он решился и промолвил:

— Скородье, я плакат там прилепил. Накрыл, то есть, плакатом его.

Я догадался о своем упущении: у нас в повозке есть большевистские плакаты — на фоне кровавого пламени изображены крупные фигуры китайцев, идущих в битву. Надпись: «За власть Советов». Умертвив ребенка, Андрей-Фиалка накрыл его этим плакатом.

Но о плакате — только «разбег» для Андрея. Теперь он изумленно вопрошает меня:

— Скородье, отчего такая живучесть в этом народе, в китайцах? Ить всего с огурец детё. Сквозь него одной ширины, почитай, два пальца прошло, а ить все жив.

Я ласково говорю ему:

— Андрей, посмотри сам за шанцевым инструментом. Не подмочило бы.

Отъезжая, он тихо спрашивает самого себя:

— Кажись бы, с одного разу?.. Огурец — детё?..

Четвертый день мы стоим в пади Тар-Бал-Жей. Наше убежище — узкая долина, замкнутая высокими сопками. Кривой черный березняк оголился вовсе. По ночам в ущелье ветер свистит в безжизненных ветках, тревожит мои костры, тревожит мою душу. Я закончил свои операции в Трехречье... Мы разграбили и сожгли Щучье, до основания уничтожили большинство крупных заимок в районе течения речки Чинкар, и оттуда я стремительно ушел сюда, в падь. Мы составили полное впечатление, что мы «красноармейский отряд» и снова «вернулись домой», то есть в Россию.

Нас «ловили» китайские отряды и, конечно, «не видали» нас. Черный Жук — неуловим.

Теперь по нашим следам едет «авторитетная комиссия» с иностранцами и обнаруживает улики, доказывающие «зверства большевистские».

Мои люди от скуки торгуют друг с другом награбленным. Иногда одна и та же вещь по несколько раз побывает в руках одного владельца.

В торговле не принимают участия Артемий и Андрей-Фиалка. Артемий потому, что он — «я прямо скажу, что мне чужого добра не надо»; мне не нравится эта его необычайная «честность». А Андрей-Фиалка не торгует потому, что он «сподымает лишь то, что потребоваться может только ему одному».

Я читаю газеты. Каждое утро цыган приносит их из «пункта». Мне доставляет большое наслаждение то, что я с моим отрядом в пару дней стал центром мировой печати. От меня зависит мировой скандал. В пару дней я могу стать «центром мира», ибо конфликт России и Китаем, несомненно, начало мировой войны. На Востоке вспыхнет пожар.

Лишь теперь я почувствовал, какие нити держу в руках. Пусть эта сухая английская подошва думает, что я марионетка в его руках.

Он жестоко ошибается. Иначе я непроходимый осел. Он очень осторожен. Теперь мне понятно, почему ни он, ни кто-либо «другой» не мог Дать мне своих лошадей. Однако ни ему, ни кому-либо «другому» не удастся умыть руки. Я их запачкаю пеплом и кровью.

Сегодня во всех наших газетах опубликованы «подробности налета красной банды на с. Щучье». Меня взволновало и насторожило одно обстоятельство — откуда узнали газеты подробности расстрела генерала Аникина? В статейке «Смерть старого воина» это описано так, как было на самом деле. Мы, выполняя роль «большевиков», естественно, должны были расправиться с богатеями села.

При налете генерал, доживающий в этом селе, был ранен в бок пулей из томсона. И когда его вместе с другими привели ко мне, он потребовал:

— Большевик, прикажите сделать мне перевязку. Я ответил, что «не из-за чего хлопотать, сейчас вас расстреляют».

И тогда он мне саркастически бросил, кивнув головой:

— Ну, а я полагал, что вам доступна эстетика казни.

— То есть, генерал? — изумился я.

— Мерзко расстреливать окровавленного человека.

Этих слов никто не мог передать в газету, кроме моих людей.

Несомненно одно — кто-то осведомляет.

Я думаю — кто. Так или иначе узнаю. А если не узнаю, поступлю так, как обычно и следует: уничтожу того, кого заподозрю. Троих, четверых. Это гарантия. Правда, не стопроцентная, но верных восемьдесят процентов. Если же и после повторится — я тоже повторю опыт.

Сегодня утром кроме газет цыган привез из «пункта» объемистый пакет от Воробьева. Все готово к переходу через границу. Сегодня ночью мы двинемся и восточней русского села Олечье перейдем на советскую территорию. Внимание большевистских частей отвлекут обстрелом русской территории с китайского берега.

Дальнейшая моя деятельность будет распространена на крупные пограничные села Олечье, Церухайтуй и Обегайтуй. В этом районе постоянно действовали банды Ивана Александровича Пешкова. Воробьев высказывает полную уверенность в восстании этих сел против Советской власти. Беспорядки в пограничной полосе — лучшая гарантия победы.

Чьей? И над кем?

Мне хочется думать — нашей, то есть моей. Моей над моим изгнанием.

В Олечье «работает» наш человек. Завтра мне передадут от него письмо.

Удивительно в тон Воробьеву берут китайские газеты, да и иностранные тоже.

Китайские чиновники открыто доказывают, что боеспособность большевистской Красной Армии незначительна и что «преобладающие в армии крестьянские настроения», несомненно, скажутся в самом начале новой гражданской войны, которая якобы в России неизбежна.

Иностранные газеты пестрят статьями, «беспристрастно» оценивающими боеспособность Красной Армии с точки зрения объективной военной доктрины.

Ребенку понятно, зачем все это.

Что же, мир отдохнул от германской войны. Десять миллионов человеческих жертв увеличится по крайней мере вдвое. Римский папа открыто призывает к «крестовому походу» против большевиков.

Если ворон каркнет — близко смерть. Если церковь поднимет крест — близка война.

Я радуюсь одному: вновь начинается дьявольский шабаш и я в этом шабаше танцую первым. Я первый стегну отвергнувшую меня.

Близко сумерки. Голые вершины скал становятся фиалковыми. Над падью быстро, со свистом пролетает стайка чирят. И оттого, что они быстро пронеслись, на душе становится холодно. Быстрый полет их для меня всегда был предвестником стужи. А еще — маленькие пичужки, похожие на синиц. Поблекшая, обожженная морозом трава. По застывшим стволам черных березок ползает множество этих синичек. Цыкают они тихо, как сверчки днем. Я затаился — гляжу на них. Одиночество подкатывает к сердцу.

Слышу чей-то голос:

— Может, по домам разойтись? Что же ветры перемывать.

— Сиди. Объявят, и домой попадешь, — отрезают ему.

В другой группе вполголоса запевают песню. Но она не слаживается и умолкает. К ним подходит Кирик, или, как его теперь прозвали, Ананий — адская машина. Оказалось, он утаил свою тирольскую шляпу и, когда мы без дела, носит ее вместо шлема.

— Эко я обучу вас нашинской, тамбовской, — заявляет он. Ананий бывший антоновец. Но с Антоновым он разошелся «по-идейному», имел свой отряд, действовавший «сапаратно».

Ананий садится на корточки, упирается локтями в колени, обхватывает ладонями щеки. Поет он безголосо, скверно, но песня мне нравится. Антоновская песня. Мотив ее — что-то среднее между «Бродягой забайкальским» и старинной песней «Уж ты воля, моя воля».

То ли солнышко не светит,
Над головушкой туман.
То ли пуля в сердце метит,
То ли близок трибунал.

Незаметно я придвигаюсь ближе к ним. Я хочу дослушать песню. Печально глядя вдаль, Ананий тянет. Голос у него тонкий-тонкий, бабий голос, и дрожит:

Не к лицу нам покаянье, —
Коммунист — огонь, огонь.
Мы бессмертны, до свиданья!
Трупом пахнет самогон.

Позади я слышал, как философствует Андрей-Фиалка. С ним редко бывает приступ такого словоизлияния. Но раз он «разбежался», то уже не остановится.

— ...и вот, дура-мама, весна. По всей-то землешеньке цветут вишневые сады, грядами, а между ими зелены по колено. И — шабаш. Весь, дура-мама, мир стихнет. Мечи перекуют на оралы. Я объявляю: ни у какой дуры-мамы не удержится злоба на душе перед такой красотой.

Ему возражает парень с жиденькой бородкой. Этот действительно был монашком в Раненбургском монастыре. За воровство он был сослан большевиками в Казахстан, но оттуда пешком пришел в Китай, через Монголию. Все знают, что он вор, и он этого не таит. Это его «чесная профессия».

— А я, братцы, — гнусливым голосом поет он, — одной зрительности держусь: социализма, отменная, скажу, социализма, на земле утвердится через воровство. Зрительность моей точки такая: собственности на земле не будет, вот и мир воцарится, благословенность в человеках утвердится. А, братцы, ворами собственность как раз не допускается.

Китаец восхищенно смотрит на них. Из всего их разговора он понимает только одно слово — социализм.

Я замечаю: харбинский гимназист, оглядываясь в мою сторону, быстро перебегая к ним, нагнулся и, вытягивая шею, жадно и громко шепчет:

— Господа, вы о чем, о женщинах? — Он сладострастно жмурится и еще тише добавляет: — Я люблю о женщинах...

Меня осеняет догадка: осведомляет он. Я думаю: сейчас или обождать?

Ананий закрывает глаза. Как бы хочет показать, что засыпает в смертном сне, и со свирепой тоской кончает припев:

Э-ах, доля, недоля,
Глухая тюрьма, —
Долина, осина,
Могила темна.

Гаснут костры, близится полночь...

Письма от «Павлика» — это тот, кто работает по заданию Воробьева в Олечье, — мне доставил английский офицер.

В болотистом местечке Ю-Куй-Хо мы ждали темноты, чтобы начать переправу через Аргунь. Влево от нас вдали слышалась ленивая, однако непрерывная стрельба. К выстрелам очень тревожно прислушивался китаец Люи Сан-фан. Видимо, он недоумевал, и поэтому все время порывался заговорить со мной: никто, кроме меня, не знал значения этой стрельбы.

Англичанин проник к нам под видом охотника.

— Наш общий друг просил меня — разумеется, если я вас случайно увижу, — вручить вам это, — сказал мне англичанин, передавая пакет.

Тон, каким он это произнес, а особенно слово «случайно», мгновенно вывели меня из равновесия.

С наглой вежливостью он намекнул мне на мою зависимость от него.

Я внезапно почувствовал себя так, как ровно бы я к моей возлюбленной, возлюбленной до тоски, до муки, бегаю на побегушках с записками и с букетами от этого нахального прощелыги.

Злоба подкатывается к сердцу. Я медленно оглядываю местность, в которой мы расположились. Болото и глушь. Холодный ветер топчет камыш, сухие тростинки ломаются со звоном, как стеклянные палочки.

И офицер и люди мои следят за моим взглядом. Я чувствую, что каждое движение жилки на моем лице, движение пальца не ускользают от внимания моих людей. Все они поняли мою ненависть к англичанину и напряженно ждут знака.

Я говорю офицеру:

— Нравятся вам мои люди?

Несколько секунд он испытывает явный приступ смертного страха, он внезапно теряет в моих глазах свою значительность иностранца и становится похожим на одного из моих людей, тяжело провинившегося перед всем отрядом.

Потом он оправляется и отвечает:

— Я офицер и людей оцениваю только в бою. Я вновь чувствую его силу. Я не трушу, но какая-то нерешительность обуяла меня. Я зачем-то подзываю Андрея-Фиалку...

Андрей возится со своим делом. Вчера мы случайно встретили какого-то проезжего китайца, и так как тот видел нас и мог бы рассказать об этом где-нибудь, Андрей «поговорил» с ним. В повозке у убитого он нашел прямой длинный палаш в никелированных ножнах. Палаш Андрей подарил гимназисту-поэту, а ножны переломил пополам и сегодня весь день возился с обломком: из верхней части он хочет сделать ножны для прямого тесака.

Я запретил ему распаковывать шанцевый инструмент, и ножны он расплющивает при помощи двух больших кремней. Злясь на меня, он стучал камнями весь день, избил и ссадил себе руки, но не отказался от затей.

К нам он подходит лениво, как бы нехотя. В одной руке у него острый камень, в другой — ножны. Мрачно глядя мне в грудь, он надвигается на меня. Глаза его чуть затягиваются нижними веками, лицо синеет.

На секунду мне становится страшно. Едва осилив себя, я перевожу взгляд на офицера. Андрей-Фиалка повернулся к нему же. Я чувствую, как мое сердце снова стучит четко и легко: злоба Андрей нашла «точку».

— Мне с ним «поговорить»? — тихо и терпеливо спросил он и, не ожидая, повернулся туда, где он оставил свой тесак. Люди молча следят за ним.

Дикое злорадство овладевает мной. Я усмехаюсь англичанину в лицо:

— Он работает только тесаком. Острым, германским, понимаете, сэ, германским тесаком.

Англичанин понял меня. Но страх уж не вернулся к нему. И я вновь растерялся перед его спокойной небрежностью. Встретив мой насмешливый взгляд, он усмехнулся.

— Господин Багровский, — заговорил он, — я хочу вас забавить чудесной историей. В одном из портовых городов Сирии вспыхнуло восстание туземцев. Я был в плавании, милях в тридцати от этого порта. В полдень я получил по радио сообщение, что европейскому кварталу в этом городке угрожает резня. Я изменил курс. В порт я прибыл, естественно, не один: почти одновременно со мной там же отдали якоря два французских миноносца, один полулинейный и три американских военных корабля. Два из них типа ОК-207 и один легкий, корветного типа. В порту все стихло. Разумеется, мы соблюдали все правила культурности и морских законов. Мы обменялись приветствиями, и общее командование над нами принял французский линейный корабль. Мы сделали по шести залпов в туземную часть города, вновь отсалютовали друг другу и, не справляясь о результатах стрельбы — о, мы не сомневались в нашей меткости! — вновь взяли каждый свой курс. Вы понимаете, господин Багровский? Я вам хочу сказать, как охраняется неприкосновенность культурных наций.

Окончив повествование, он спокойным, но очень-очень быстрым движением руки выдернул из ягдташа толстый продолговатый пакет и передал мне.

Пакет этот был сделан из коленкора и туго накрахмален.

На бледно-голубом поле стоял черный выпуклый знак — французская буква (\$), пересеченная двумя тоненькими черточками.

Могущественный знак!

Что-то оторвалось у меня внутри. Я сжимаю пакет.

Перед глазами вспыхивает видение: множество бледно-зеленых долларов.

Я чувствую «твердую почву» под своими ногами.

Доллары — лучшее право на лень. Они всегда пригодятся.

Андрей-Фиалка подошел к нам со своим тесаком и с камнем в другой руке. Минуту он стоял в нерешительности, пытаясь что-то прочесть в моем взгляде. Потом внезапно отбежал туда, где у него лежал второй камень — наковальня. Положив свой тесак на этот камень, он принялся острием второго камня остервенело колотить по лезвию.

Но тесак не поддавался. Тогда Андрей-Фиалка разогнулся, швырнул тесак далеко в болото. Потом медленно и мрачно оглядел нас всех и отошел к повозкам.

Когда англичанин уходил от нас, ко мне незаметно подошел дядя Паша Алаверды с карабином и стоял рядом со мной, показывая, что, мол, стою я тут совсем случайно, просто так вышло, что я тут, рядом с тобой, очутился, и карабин тоже случайный.

Но офицер ушел «неприкосновенно».

Теперь я уж несколько успокоился. Я пощадил моего врага и радуюсь, что эта «сухая подошва» ушла «неприкосновенно».

Радуюсь, ибо я делаю такой вывод: если я не подал знак цыгану — о, мы тоже не сомневаемся в нашей меткости! — значит, мне еще «не все равно», значит, я еще «не обречен». И если бы мне было «все равно» и я был бы «обречен», я бы подал знак цыгану.

Я успокоился теперь, внимательно перечитываю письма Павлика и еще раз вдумываюсь в план рейда. Верность моих предположений как бы подтверждается картиной, которую нарисовал Павлик в своих отчетах Воробьеву.

Вот его письма.

Записка первая

«...приехал в Олечье уполномоченным по проведению сплошной коллективизации. Документами снабдил Пешков — они «обработали» какого-то рабочего «ударника» Максимова, посланного сюда из Москвы, через Читу.

Знакомлюсь с настроением крестьянства. В большинстве своем мужики очень увлечены колхозным настроением. В первый же вечер ко мне на квартиру набилось битком народу. Спрашивают о Москве, о тракторах, о налоге «на тех, которые в сплошной колхоз вступят».

Хорошо, что поехал я сам. Уверен, что Соколов, которого ты хотел послать, растерялся бы перед таким «энтузиазмом» мужиков. Я же дело объясняю исключительно тем, что мужики спешат, как бы скорее, выделившись в колхоз, занять лучшие уголья.

Уверен, что в течение недели-двух я собою им этот пыл. Я хорошо знаю этого медведя-мужика. Знаю: буду дразнить, и он рассвирепеет. Тогда держись.

Ячейка коммунистов — пять человек. Опасен только один парень — Оглоблин. Остальные дрянь — хвастаются своим стажем и ревзаслугами, только и делают».

Записка вторая

«...митинговал за «сплошную коллективизацию». Все шло отлично. Не испугались даже обобществления лошадей и инвентаря. Тогда я бросил первый камешек в «медведя». Я сказал примерно так:

— Итак, товарищи. Советская власть — это сплошная коллективизация. Я голосую. Кто против немедленного объявления села Олечье сплошным колхозом и, стало быть, против Советской власти — поднимите руку.

Ясно, что никто руки не поднял. Оглоблин хотел было что-то возразить, но я зааплодировал, и коммунисты по «фракционной традиции» — мол, после разберемся — поддержали меня. Кое-кто еще пошлепал в ладоши.

Потом я объявил:

— Итак, с сегодняшнего числа все вы, за исключением кулаков, конечно, считаетесь колхозниками. Завтра мы с общим энтузиазмом приступим к обобществлению имущества, к выявлению кулаков...

Коммунист Оглоблин опять было заговорил, но я снова зааплодировал и закрыл собрание.

Кроме коммунистов, уже не аплодировал никто. Камень попал в цель. «Медведь» заурчал.

В газеты посылаю статейки о своем успехе за «своей» подписью — «ударник Максимов». А об Оглоблине я написал «секретно», что у него «ярко выраженный правый оппортунизм». В успехе не сомневаюсь».

Записка третья

«Оглоблина осаждали. Перевели от меня в соседний небольшой поселок, и мне же поручено наблюдать за ним. Надо отдать должное ему: в два дня создал очень дружественное расположение к себе.

Я то и дело созываю бедноту на собрания и за каждое опоздание угрожаю штрафом — мол, беднота, а своей халатностью содействуете кулакам.

На собрании — никаких обсуждений. Я им просто — «от имени фракции», и крышка. Сегодня один мужичонко было заартачился — «постепеннее б, товарищ Максимов, нельзя ли. Уж больно как на пожаре...» Я обвинил его в уклоне и удалил с собрания.

«Классовую борьбу» развернул вовсю. Сейчас ловим поросят, гусей, кур — «обобществляем».

В селе стон. Обобществленные лошади и коровы стоят в холодных сараях, без воды и без корма. Мы «выявили» и сорок два процента хозяйств и объявили кулаками, «подлежащими уничтожению как класс». Мы у них забили колодцы, не даем воды, взрослых держим в амбарах арестованными и пачками отсылаем в округ как «активных» врагов коллективизации. Настроение напряжено. Ускоряй продвижение Багровского».

Записка четвертая

«Коммунист Оглоблин определенно понял мою тактику. Есть сведения, что он посылает обо мне письма куда-то в центр, помимо окружных властей. Перехватить не успел. Боюсь, что письмо его дойдет по назначению. Окружным властям я пишу о «крестьянском единодушии», и они доверяют моему «московскому авторитету». Но все же письмо может попасть в руки. К Оглоблину круто меняю отношение: ставлю его в пример, пользуясь тем, что организованное им в поселке «товарищество по совместной обработке» действительно сколочено крепко. Сегодня посылаю о нем письмо в округ, что, мол, «идейно выправляется», а в газету заметку как о «примерном». Создам ему славу «передовика». Одновременно поручу Пешкову слепнуть этого Оглоблина из обреза. Тогда подниму вой о вооруженном «кулацком» выступлении и объявлю «террор». Это пройдет, потому что в поселке есть действительно три-четыре кулака, которые на него имеют зуб. От Пешкова я узнал, что один из этих кулаков, знакомец Пешкова по прозвищу Царь, сам намекал на убийство Оглоблина. Все это займет, стало быть, четыре-пять дней. Необходимо, чтобы через четыре-пять дней Багровский был здесь, поблизости».

Пятая записка Павлика была изрезана Воробьевым, и мне он прислал только узенькую полоску. Одна сторона была тщательно зачеркнута синими чернилами, а на другой сообщалось, что Павлик проводил «день сбора утильсырья».

Эта узенькая полоска бумаги, изрезанная Воробьевым, злит меня. Мне не доверяют письма, непосредственно меня касающиеся. Этот Воробьев сидит там в кабинете у своих многочисленных дурацких кнопок и оттуда «указует» мне.

Никакой опасности не подвергается он, а мне на каждом шагу грозит гибель. Впрочем, я уже давно понял заячью мудрость этих Воробьевых, этих «командующих свыше» — подобно шакалам, они сидят в норах во время боя и обжираются, когда стихает последний отзвук смерти.

Он, Воробьев, хочет, чтоб я был марионеткой. Посмотрим, кто кого. Он, Воробьев, посылает своих соглядатаев за мной, но он их получит обратно. При следующей встрече с английским офицером я убью его, хотя бы это мне стоило жизни. А сейчас я pošлю тебе подарок номер первый...

Я встаю и направляюсь к людям. У меня созрело решение убить харбинского гимназиста-поэта — соглядатая. Его труп я стяну ремнями, упакую и pošлю Воробьеву на квартиру. Я поступлю так же решительно, как поступил с его соглядатаем тогда у Артемия.

Я вновь пощадил своего врага и, значит, я не обречен. Только обреченные не щадят искусства. А гимназиста я пощадил за его искусство.

Когда я подошел к людям, то застал их в тот момент, когда они слушали декламацию поэта. Они окружили гимназиста плотным кольцом и «внимали» ему. Гимназист стоял без шапки, запрокинув голову и слегка встряхивая волосами. Он не окрепшим еще, но спокойным баском читал «Лебедь умирающий».

На одно мгновение все они посмотрели на меня. Но взгляды их были полны предупреждающей угрозы.

Я не испугался, но отошел. Отошел я достаточно далеко, но так, чтобы слышать декламацию гимназиста.

И здесь со мной случился страшный припадок. Не слова «Лебедя умирающего», а волнующий голос гимназиста подействовал на меня. Я вдруг почувствовал, что лишился тонкости восприятия окружающей меня природы, лишился сладости опосредствования действительности.

Из поры юности я помню одну ночь, вернее, ранний рассвет. В гимназии у нас был вечер-спектакль. Ставили «Майскую ночь». Девушки-русалки, все в бледно-голубой фате, отчего они казались прозрачными, двигались по сцене в неслышном хороводе. И как бы изда- лека слышалось заглушенное — унылая свирель. У меня захватило дух от потрясающего хоро- вода прозрачных девушек. Задышавшись, я выбежал на улицу. Был или конец марта или начало апреля. Звонкий утренник тихо пощелкивал, вымораживая лужицы. Даль бледнела.

У меня, видимо, кружилась голова. Но тогда я отчетливо чувствовал, слышал, воспри- нимал и видел, как весь этот голубой и прозрачный хоровод вместе с музыкой спустился ко мне, окружил меня в своем неслышном танце. Музыка стала еще глуше, а девушек внезапно появилось множество, как снежинок.

Вот это видение всю жизнь для меня служило каким-то спасительным якорем. Казалось, вот-вот пройдет буря, прорвется какая-то временная пленка, заслоняющая от меня мою насто- ящую жизнь, и я вновь услышу тихую радость свирели и увижу бледно-голубой хоровод деву- шек-снежинок.

Но сейчас вдруг чувства мои стали плоскими, невоспринимающими, засаленными, подобно клеенке с трактирного стола. И уже не радость, а злобу и тоску вызывает у меня наив- ный басок гимназиста-поэта, декламирующего о камышах, о песне, о сильном царственном лебеде. И уж не волнует меня ветер, свистящий в куте, и далекий стон ломающихся камыши- нок.

Я вспоминаю чье-то изречение: «Если у человека атрофированы чувства, ему уж нечего делать на земле».

Эта вздорная мудрость напугала меня. Я пытаюсь убедить себя в обратном. Есть слова, которые всегда ранят меня в самое сердце. Я произношу их:

...С плачем деревья качаются голые...

Но они уже стерлись для меня. И они уж недоступны моему восприятию. Я навеки обер- нут непроницаемой, липкой клеенкой с трактирного стола.

...С плачем деревья... качаются голые...

Внезапно мне кажется, что со всех сторон я окружен темным девственным лесом. Люди — существа, подобные мне, — исчезли вовсе, а может быть, их никогда и не было, и я обречен долго жить среди незнакомых мне, прячущихся от меня существ и умереть, так и не увидев ни одного человека.

Я проваливаюсь в узенькую бездонную щель первобытной тоски.
Я задыхаюсь, задираю к небу голову, вскидываю руки и вновь кричу:

...С плачем... деревья... качаются... голые...

Что-то легко упирается мне в грудь с правой стороны. Я гляжу на это «что-то» и лишь через несколько секунд соображаю: это бамбуковый штур, который мне подарил Андрей-Фиалка. Он висит у меня на поднятой руке, упираясь нижним концом мне в грудь. Прикосновение постороннего предмета пугает меня. Я опускаю руки и хочу снять с запястья наручник палки. Меня окликает китаец, и я прихожу в себя.

Китаец кривит свою желтую рожу. Он хочет выразить мне свое сочувствие. Молиться на меня он готов за то, что я веду его к большевикам, в легендарную страну Россию — Ленин.

— Капитана, твоя шибыха скушна! — восклицает он и повторяет: — Шибыха, шибыха скушна...

Наотмашь я ударяю его по лицу. Китаец падает и визжит. Нас окружают люди. Мне становится страшно от их молчаливого ожидания. Я чувствую неотвратимую потребность оправдаться перед ними и говорю, указывая на корчащегося китайца:

— Андрей, надо покончить с ним.

— А за што? — спрашивает Андрей.

Я достаю письма Павлика и многозначительно потрясаю ими. Я хочу сказать, что мне сообщают о китайце, как о большевистском шпионе, но вовремя вспоминаю, что такой отчет подорвет мой авторитет начальника.

— Не твое дело спрашивать! — кричу я.

Это мгновенно приводит моих людей в повиновение. Даже Андрея-Фиалку.

— Нечем, скородье, — оправдывается он, беря под козырек.

Несколько голосов поддерживают его:

— Фиалке теперь нечем. Чем же ему, Фиалке, теперь?.. Инструментину он свою даве обронил.

Оглядывая людей, я разыскиваю цыгана. Я хочу показать Андрею-Фиалке, что не нуждаюсь больше в нем. Сейчас он поймет мое намерение и тогда сразу найдет «чем».

Своего страшного «первенства» Андрей-Фиалка не уступит никому.

Но дядя Паша Алаверды спрятался от меня. На глаза мне попадает гимназист-поэт. Я подзываю его и, указывая на китайца, говорю:

— А ну...

Гимназист догадался, но как бы хочет убедить себя, что он неправильно понял мой приказ.

Он сдвинул назад свой прямой палаш, торчащий у него за поясом, нагнулся и помог китайцу встать.

Китаец поднялся и трет обеими ладонями верхнюю губу и ноздри. Меня поразило одно: у него не было слез. Глаза были сухие и как-то сразу глубоко ввалились.

Гимназист-поэт робко и вопросительно посмотрел на меня. Издеваясь, я спрашиваю:

— Ты разве не можешь? Ведь ты курицу не можешь, а человека — ге?

Он онемел вовсе. Рука застыла на широком узорном эфесе палаша. Он чего-то ждет.

— А ну! — вскрикиваю я.

Он машинально повертывается к китайцу и медленно вытягивает из-за пояса длинный обнаженный клинок палаша. Но он не знает, как надо действовать прямым клинком.

Сначала он замахивается и хочет рубануть, но от неудобности и страха рука у него завяла.

Высокий джени-китаец парализован. Кровь из носу мгновенно перестала течь, казалось, засохла и потеряла свою яркость на его побледневшем, сером лице. Вокруг глаз лежат большие темно-синие кольца.

Гимназист не в силах оторваться от его лица. Я опять подстегиваю гимназиста окриком:
— А ну!..

Он, уж не оглядываясь, сгибает руку в локте и замахивается удивительно ловким прямым ударом. Таким ударом даже при средней стремительности нанесения палашом можно пронзить насквозь и раздробить позвоночник. Но, замахнувшись, гимназист опять вдруг ослабел и тихо подвел конец палаша к горлу джени-китайца.

И оба они — и гимназист и китаец — одновременно вздрогнули. Точно бы палаш, коснувшись шеи джени-китайца, соединил их каким-то мгновенным током.

— А ну! — в третий раз крикнул я и стукнул его бамбуком. Я знаю, что боль вызовет бешенство и в приступе этого бешенства сейчас все кончится.

Я угадал. Гимназист-поэт не оглянулся на меня. После удара он заурчал и как-то странно, по-заячьи, зафыркал. Я стукнул его еще раз по шее сзади. Я видел, как кожа на его щеках задергалась в судорожном приступе злобы. Отвернувшись от джени-китайца полубоком, но не сводя с него глаз, а лишь выставив вперед левое плечо и как бы закрывая им китайца, гимназист-поэт стал медленно пятиться назад, занося для прямого удара руку и не переставая урчать и фыркать.

Отступив шагов на пятнадцать, гимназист на мгновение встал, умолк и внезапно ринулся на джени-китайца, наклоняясь вперед всем корпусом. Точно бы тяжесть его растянутого корпуса валила с ног и заставляла бежать как можно быстрее, чтобы сохранить равновесие и выпрямиться.

Джени-китаец не выдержал и упал. Гимназист-поэт выронил палаш и тоже рухнул на землю. Корчась в нервной судороге, он шарит по земле руками, точно бы ищет свой палаш, и бормочет:

— Боженьки, боженьки, вот и моя жизнь...

Я гляжу на лица моих людей. Такая слабость гимназиста вызывает у них презрение и дикую ненависть. Никто из них не простит ему этой мягкотелости. И уж никто из них не пощадит его.

Моя ненависть к гимназисту теперь стала ненавистью всего отряда.

Андрей-Фиалка подходит к нему, поднимает палаш и, наступив на середину клинка, ломает его пополам: он не может работать длинным клинком.

Отходя в сторону, он сумрачно произносит:

— Не убежит, скороде, китаеза, мама-дура, никуды.

Сейчас же откуда-то выныривает цыган и тоже вторит поспешно и сладко:

— Не убежат, не убежат... Куда ж он убежит, начальник?

Андрей-Фиалка берет свои кремни, сбивает с обломка палаша эфес и вставляет сломанный клинок в ножны, которые он хотел приспособить для своего заброшенного германского тесака. Чуть-чуть пораздумав, он садится на корточки, вбивает камень в землю и, обнажая обломок клинка, начинает другим камнем «оттягивать» и заострять конец.

Ему неспособно, и камень ссаднит ему руку.

Андрей-Фиалка свирепеет.

Темнеет. Слышны частые и злые удары камня о сталь. Андрей-Фиалка «кует мечи». Летят мелкие искры. Я подхожу к Андрею и говорю:

— Взял бы инструмент из повозки.

Но Андрей-Фиалка не хочет замечать меня. Я отошел в сторону. Меня нагоняет Ананий — адская машина. Он по-мужички снимает передо мной свою тирольскую шляпу и спрашивает:

— Как с этим прикажешь быть, с песнопевцем?

Так он называет гимназиста-поэта. К нам подходят еще несколько человек. Видимо, они уж обсуждали меж собой судьбу гимназиста.

Я решаю оттянуть им это удовольствие.

— Сейчас уж некогда возиться, скоро тронемся.

— То-то, — соглашается Ананий, — и я говорю, что некогда сейчас. Это дело исподвольки нужно. — Но, помедлив, он снова намекает: — А то, конечно, и развязаться с ним недолго. Один минут. По-тамбовски, по-нашему, мы, бывало, тоже вечерами вот этак же, — бросает он, взглядываясь в небо.

Но я молча ухожу к берегу Аргуни. Скоро переправа. До середины реки вода китайская, а там большевистская. Невидимая, несуществующая и вместе с тем неминуемая линия лежит посредине реки. Граница.

От малейшего искривления, колебания этой несуществующей линии загораются войны, гибнут тысячи и сотни тысяч жизней. Этому чудищу-ихтиозавру — границе — человечество на протяжении всей своей истории приносит миллионы кровавых жертв.

Я задаю себе вопрос: есть ли у человечества выход? Неужели на протяжении тысячелетий люди еще не смогли ответить на вопрос: что есть причина войны? Где ж выход? Неужели вон там, за Аргунью, там, в широкой темной степи, имя которой Россия — Ленин?

Но я не хочу отвечать на эти вопросы. Мне «уж все равно». Я — «сокол», о котором писал Максим Горький:

Безумству храбрых поем мы славу...

...Безумству храбрых — вот смысл жизни сей. Пусть хоть кто-нибудь усомнится, что я — «сокол», что я «безумство храбрых»...

О нет. Я не обречен. Ибо «безумство храбрых — вот смысл жизни сей».

Моя жизнь, мой смелый кровавый рейд в страну большевиков — «вот смысл жизни сей».

Я — «сокол». «Безумству храбрых поем мы славу...»

Вернулся Артемий и доложил, что на противоположном берегу «все, я прямо скажу, спокойно». Я приказываю начать переправу. Люди тихо, гуськом по двое спускаются к воде. Лошади, обнюхивая воду, тихо храпят, но теперь они послушны.

Артемий держит веревку лодки-оморочки в руках и тихо растолковывает своим помощникам, как надо укладывать шанцевый инструмент.

Потом умолкает и надолго задумывается, глядя в сторону России.

Шанцевый инструмент уложен. Кто-то из людей приносит на руках цинковый ящик. Идет он осторожно, боясь оступиться. Лодку придерживают — он садится и ставит ящик себе на колени; в этом ящике шестнадцать килограммов пироксилина.

Артемий, глядя на этого парня, тихо говорит мне тоном оправдывающегося:

— Трудна ей смертушка досталась. Я прямо скажу, на диво туго с жизнью прощалась. Ой-ой как не хотелось расставаться ей. Ведь, почитай, до самой кончины в памяти находилась, упокойница.

Это он про жену, про Маринку. Я делаю вид, что не слышу, но он безотвязен.

— Все тебя, то есть вас, кликала. Прямо скажу, повидать хотелось ей вас перед смертушкой. Ок-ка меня она молила тебя, то есть вас, позвать...

Он хочет сказать что-то еще, но веревка выскальзывает у него из рук, лодку относит течением. На мгновение я вижу, как человек, держащий ящик с динамитом, встает в лодке, но тут же и он и лодка исчезают в темноте.

Артемий с невероятной быстротой сбросил с себя сапоги и брюки и в одной гимнастерке и нижнем белье неслышно скользнул в ледяную воду.

Через две-три минуты он подтянул лодку ко мне и, вздрагивая от холода, забормотал почему-то очень бодро и даже радостно:

— Кто сапоги, кто штаны намочит, а я, прямо скажу, с головкой окунулся. Окстился и сызнова в веру русскую перехожу. Сызнова на родную сторонку. Окстился в чистой, ледяной воде. — И уж серьезно и даже сурово, но тихо промолвил: — Очийсти мя, боже, по величи милости твоя.

Часть вторая

Я не суеверен, но на первой же пяди большевистской земли я потерял кольцо, которое мне подарил Андрей-Фиалка.

Каркнул ворон: невеста, потерявшая обручальное кольцо, ждет несчастья. Андрей-Фиалка обручил меня этим утерянным кольцом.

Каркнул ворон.

Я не хочу думать об этом пустяке. Не хочу придавать какое-либо мистическое значение бредням. Но невольно думаю о кольце и невольно придаю этому факту таинственный смысл.

Почему именно здесь, на большевистской земле, а не вчера потерял я кольцо?

Эх, потеряла я колечко...

Андрей-Фиалка обручил меня этим кольцом, и вот что еще странно в этом факте: волосы, причиной утери служили волосы. Два раза — волосы. Волосы и еще раз волосы.

Вчера после переправы мы быстро двинулись в глубь России. Шли мы по пустынной равнине, покрытой низенькими песчаными взгорьями. Перед нами неожиданно вынырнул на взгорье всадник-красноармеец. Но нас он, видимо, не заметил во мгле.

Я остановил отряд и выслал вперед Андрея-Фиалку и цыгана. Цыган вернулся тут же. Мы двинулись опять. Андрей догнал нас потом. Я спросил у него, «чем кончилось». Собственно, я знал, «чем кончилось», но меня интересовало то обстоятельство, чем именно действовал Андрей? Отточил ли он свой обломок палаша? Доволен ли он им? О, я хорошо понимаю, что Андрей-Фиалка может долго и болезненно тосковать о тесаке, к которому он так привык.

Андрей-Фиалка ничего не ответил мне. Промычал только.

Неужели Андрей разделался с красноармейцем первобытным способом? Значит, он еще не кончил свою «работу» над палахом и с двумя кремнями переправился сюда, в Россию?

Что за странная склонность у Андрея-Фиалки расправляться молча? С одной стороны, это хорошая примета: против большевиков идет первобытная сила.

Но этот способ его, а главное — пряди волос в запекшейся крови у него на одежде почему-то заставили меня долгое время думать о них и быть рассеянным.

Это волосы — раз.

А два: с пальца у меня кольцо сдернули тоже волосы. В этой рассеянности я как-то машинально поймал коня за гриву. Рука сорвалась, и кольцо сдернуло гривой. В рассеянности я не обратил на это внимания. А теперь я хорошо припоминаю, что именно гривой сдернуло кольцо у меня с большого пальца.

Это волосы — два. Ворон каркнул. Чертовщина неотвязная.

Лезет в голову дурная блажь. Надо плюнуть на эту чушь.

Черт знает какое слюнтяйство! Подумаешь — ну и потерял кольцо, ну и черт с ним!

А все же: почему именно здесь, а не в Китае?

И почему — волосы и опять волосы?

На глухой заимке мы переживаем вечер. За ночь мы уйдем в сопки, за Олечье, и оттуда начнем свои вылазки.

Заметил я одно обстоятельство: все люди стали вдруг здесь, в России, молчаливее и солиднее. Как-то дисциплинирующе действуют на всех даже эти песчаные холмы, эти редкие, как борода у прокаженного, низкорослые кусты.

Люди с опасливым любопытством присматриваются к чему-то и с глубокой вдумчивостью к чему-то прислушиваются.

Неужели железная сила большевистской воли невидимо реет даже здесь, над пустыней этой?

На заимке — один старик. С ним живут еще трое — его сын и двое чужих. Они пасут овец от Карачаевского совхоза и сейчас угнали их в сопки; каждый день перед вечером кто-нибудь из них приходит к деду «за харчей».

Старик нас очень радушно принимает, считая красноармейцами. Он называет нас «орлы удалые» и ждет не дождется, когда придет кто-нибудь «за харчей», тогда он «распорядится», чтоб пригнали «парочку баранчиков для дорогих гостечков».

— Овцы ведь считаны у тебя, папаша, — говорю ему.

Старик изумленно смотрит на меня, ударяет себя по бедрам и укоризненно качает головой.

И уж потом объявляет:

— Поверишь, сынок, грешить не буду: на луку да на воде подчас маемся, но для себя советским добром гнушать не позволю. А для дорогих гостечков какая болячка подеется с двух баранчиков? Схвастну, схвастну на старости годов. Скажу — упали.

Старик входит в раж.

— Эдь, сынок, — кричит он восторженно, — эдь в кои-то веки довелось в гостях у себя принимать вас, орлы удалые! Эдь в кои веки! Да меня за это и сам Сталин похвалит. Похвалит. Молодец, скажет, Епифан Семеныч, хоть стар, а молодец. Не обесчестил смычку мирного населения.

Дед Епифан донельзя словоохотлив. Он у каждого расспрашивает о семье, о родне, о «губернии». Сторонится только Андрея-Фиалки. О нем он сразу мне сказал: «Эко, темный бор насупился». Может, он уже предчувствует свою судьбу?

А ко мне он то и дело пристаёт, чтоб я говорил ему о Боге. «Есть Бог или как, сынок?» — твердит он.

Большевики своей пропагандой о безбожии расклинили его душу. Он признался мне, что порой его «обуяет робость» и тогда он молится. Но робость проходит, и он снова «воинствует с Богом», или, как он выражается, «светлость в жизни проявляется».

Заведующий совхозом обещал ему после смерти сжечь его в крематории, или в «киматориях», как он называет, и прах похоронить с оркестром.

У деда, наполовину сомневающегося в загробной жизни, сложилось твердое убеждение, что если тело его будет сожжено, то, стало быть, он уж будет недоступен «каре божьей на том свете».

Сожжение — это мера на случай, если вдруг загробная жизнь окажется налицо: из пепла снова «склеить» тело для адских поджариваний деду кажется невозможным. Это и утешает старика.

Но в обещание заведующего он верит мало.

— Может, ище с духовными трубами сподоблюсь, а уж насчет киматориев хлопотать вряд ли будут. Разве вот по пятилетошным планам у нас тут поблизости где свои киматории построят. Ну тогда... А то вряд ли, сынок, будут охлопачивать.

Люди мои жадно слушают стариковы бредни. Особенно Артемий.

Я смотрю на деда и думаю о России, и люди мои думают о том же — о смертельной схватке двух идей: идеи деда Епифана, дерзнувшего на похороны с духовыми трубами, и идеи папы римского, поднявшего крест и именем Христа благословляющего танки, свинцовый ливень пулеметов и газ, выжигающий у людей глаза.

Мы прощаемся с дедом Епифаном. За харчем еще не пришли. Старик «ахает и охает», что не угостил нас бараниной.

— Я уже проберу. Я их проберу, — грозит он своим помощникам. — Ах вы, орлы удалые! А... Ведь што ж вышло? Я, почитай, у вас целую банку консервы пожрал, а вас несолоно емши выпроваживаю.

Мы отъезжаем. Дед подбегает ко мне. Он наскоро сует мне в подсумок комок овечьего сыру. Сыр слоями разваливается у него в руке, ошметок падает на землю, дед поднимает, быстро обтирает с него пыль и вновь сует мне.

— Не побрезгуйте, орлы удалые. Чем богаты, то и ото всей души.

Он бежит несколько шагов рядом со мной и скороговоркой просит:

— Сынок, в совхозе нашем будешь — заведущев, Егор Тимофеича, уговори похлопотать, начет чего говорил даве тебе... А... сынок?

Мы отъехали. Дед долго стоял неподвижно и, загоразив ладонью глаза от ветра, изредка кричал:

— Орлы удаые-ё-о...

Я выбросил из подсумка сыр. Тогда Андрей-Фиалка приблизился ко мне и спросил:

— Мне вернуться, «поговорить» с ним, скороде?

Я как раз думал, может ли дед Епифан указать наш путь. Дед чем-то растрогал меня. Но так «обычно» и тепло спросил у меня Андрей-Фиалка: «мне вернуться», «поговорить», «скороде».

Меня радует то обстоятельство, что Андрей-Фиалка наконец помирился со мной.

— Только знаешь, Андрей, его куда-нибудь в сторонку, чтобы не сразу нашли.

— Соображаю, скороде, — понятно ответил Андрей.

Артемий, очутившийся почему-то рядом с нами, подтвердил со скрытой неприязню:

— Соображает... я прямо скажу, Андрей — сообразительный человек.

Артемия, видимо, тоже заинтересовала судьба деда Епифана.

Андрей повернул назад. Монашек с черкесским поясом пропел ему вслед:

— Вот тебе и прожарился в крематориях.

Артемий сотни две шагов молча едет со мной плечо в плечо. Потом притворно вздыхает и говорит:

— Послала она меня за вами, упокойница. Я из больницы вышел, повертелся с часок. К вам, прямо скажу, не пошел. С чего, думаю, занятого человека для ради пустяка тревожить. Прямо скажу, не из-за чего. Какое дело — бабе при смертушке захотелось на человека облюбимого глянуть...

Незаметно я нажимаю коня шпорами. Лошадь вздрагивает и трусит быстрее. Но Артемий не хочет отставать.

— Вернулся к ней. Не нашел, говорю. А она мне шепотом, голосу, я прямо скажу, уж лишилась: «Артемий, — шепчет, — ты не обманываешь? Может, он не хочет на меня взглянуть?.. Упроси, умоли его — смертушку он мне облегчит...» А я так думаю, вы все равно не пошли бы, как? — пытается он.

Я отрезаю:

— Нет.

— Не пошли бы? — удивленно восклицает он.

— Нет, — снова отрубил я.

Артемий, скрывая зло и странную ревность, поспешно соглашается.

— Я прямо скажу, поэтому большей частью я и не пошел. На кой, думаю, от дела человека отрывать.

Я знаю: Артемий, догадываясь о моей связи с покойной Маринкой, «отомстил» и ей и мне тем, что не позвал меня к ней в больницу.

Кончилось мое скверное настроение.

Я чуть было не распустил нюни перед большевиками: этак, мол, вы на меня и на моих людей подействовали отрезвляюще, что мы чуть не расшаркаться готовы и перед вашей стальной напряженностью встанем «смирно», руки по швам.

Все это чушь. Доля, искорка подленькой робости моей и растерянности.

Отрезвила меня общая ненависть к большевикам, которая царит в России.

А эту общую ненависть к большевикам я узнал из тех писем, что отобрал у кольцевого почтальона, захваченного цыганом.

Несколько писем людей, явно настроенных по-большевистски, я отбрасываю. Беру только отменно интересных три письма. Я записываю себе адресатов. Это письма настоящих русских людей, которые жили всегда с одной психологией: «Чужое имянье уважай, своего не давай».

По таким людям всегда мерили и будут мерить Россию. Большевикам никогда не сломить их.

Письмо первое

«Любезная супруга Арина Федоровна. Ты сейчас приезжать повремени, потому что мы свергаем советскую власть. Арина, ты энтим временем закупи лучше еще дюжину фланельных одеялов. Арина — из энтих, что привезла в энтот раз, у меня расхватали по тройной цене и делают пошивку пинжаков. Арина, а как сверженье советской власти призоидет, так ты не волынься там, а вези больше фланельных одеял. Арина, мыла много не бери, его привезли в потребилровку.

Арина, меня было тут собирались ссадить с председателей наши коммунисты. Арина, особо шнырит за мной энтот сопливый Колька Бугорков и подзуживает всей бедноте захребетной, что я кулаковский агинт. Арина, особо акрысился он на меня за Барбулину рушалку — зачем сельский совет вернул ее Барбулину, у которого было семьдесят десятин купчей земли. Ну, Арина, энтот Колька дошебаршится, так, что Барбулины ребята не промашки. Арина, ты не опасайся за меня, я тебе скажу, как приедешь, такую новность услышишь про Кольку Бугоркова, что диву дашься. Арина, за меня все хоховские стеной стоят, одноважди на этих днях у Барбулина было сборище, потайное от коммунистов, и меня призывали туда. Арина, все они решают меня, как Бог даст сверзим советку власть, выбрать старостой.

Арина, уж теперь у нас все про сверженье власти говорят без опаски и ждут не дождутся, когда начнет наступать Китай с войной, и тогда поднимутся на коммунистов все народы. Арина, наш батюшка отец Владимир самолично объяснял мне, что за границей готовятся в хрестовые походы за веру на большевиков. Арина, все войска поведет римский, самый набольший архирей, который одной веры с нами, только крестится всей пятерней. Арина, батюшка отец Владимир растолковывал, что поруганья на веру от них не будет, а совсем обратно, они постепенно сами начнут креститься в нашу веру, а главным манером утврдят у нас сходную какую-нибудь власть, нам на руку.

Арина, так что ты хлебала там не раскрывай, а фланельных одеял закупай больше.

Арина, да у меня смотри, чтоб сраму там не набратся... Арина, я все равно по запаху догадаюсь, если тебя там какой-нибудь потопчет. Арина, так и знай, я догадаюсь миментом, потому что если бабу чужой мужик потопчет, то с энтото разу от нее на всю жизнь запах будет отменный и когда с мужем — пот на ней будет образовываться особого запаха.

Арина, ну оправляйся поваровей и как узнаешь, что мы советку власть сверзили, — дуй, дуй миментом.

Арина, на прощанье, не забудь энтих штук достать, что привозила, чтоб не брюхатеть.

Арина, низко кланиюсь тебе и мыслимо цалую тибя. Твой любезный супруг *Федор Селифанович Бруйкин*».

Письмо второе

«Дорогой брат!

За два года ты написал мне всего два письма. По письму в год. Я же закатываю письмо за письмом. И все о том же.

Брось свой Дальний Восток, эту каторгу, и переводись сюда, в центр. Сейчас, когда вот-вот грянет мировая война — жить на окраине просто безумье. Ведь ты с семьей не сегодня завтра станете беженцами, если останетесь живы.

Ты спрашиваешь, как перевестись. Очень просто. Сделай по-моему. Используй модную теперь идею — «борьба за научные кадры». На это дело большевики бросают все, что можно. Я своевременно учел эту обстановку и сразу же смекнул, что на «культурной революции» можно неплохо заработать. А ты знаешь, что славу «советского ученого» мне создали мои «бесхвостые мыши»? Честное слово, Федя, — «бесхвостые мыши». Началось со случайного. Узнал я, что в Сибири один ученый под большим секретом проводит опыты над крысами и собирается доказать возможность перенесения частных признаков в наследство. И будто уж добился он поразительных успехов. Но молчит покамест об этом и все проверяет. Меня и осенило. А тут как раз у меня в техникумовской вольере мышь родила шесть мышат. Случайно я одному из них отморозил эфиром хвостик. Хвостик через три дня зажил так, словно бы и не был. Это и навело меня на мысль о перенесении «частных признаков в наследство». Тогда я отобрал две взрослые мыши, самца и самку, и отморозил у них хвосты и спарил их. И когда у этой мыши родились дети, я у всего потомства отморозил хвостики.

Потом поймал как-то заведующего и, «краснея из-за скромности» и «смущаясь», рассказал ему о том, что, мол, я «дерзнул» внести поправку в «закон Менделя» о наследственности.

Рассказав, я принялся «умолять» его, чтобы он никому и нигде покамест не рассказывал, и восхищенно воскликнул:

— Ах, Иван Яклич, если бы нам — главное нам, а не мне, ведь большевики против единоличников, — удалось, то «заграница» лопнет от зависти на советскую науку.

Разве мог коммунист заведующий удержать эту тайну? Он подослал ко мне Евгения Ивановича Яблокова — ученого-ботаника. Я учел это и сразу же пошел в контратаку.

Пустил заведующему «ученую» пыль в глаза и скромненько намекнул, показывая, что, мол, я не догадываюсь, что Яблоков следит за мной.

— Видите ли, Иван Яклич, не знаю, как мне быть. Хотел пригласить Яблокова посоветоваться, но... Евгений Иванович, конечно, консервативный человек. В выдвижение советской науки он верит мало. Поэтому вы мне позвольте уж обойтись без него. Метафизика, знаете ли, идеализм. Диалектикой он, видите ли, не вооружен, в этом его и недостаток.

Неделя-две — и Яблокова я скомпрометировал с ног до головы. А тем временем дую заву и о своем «пролетарском» происхождении, и о горькой жизни в прошлом, и о способности сохранять бодрость в минуты «строительных трудностей».

Тут, Федя, нужна очень тонкая игра. Главное «искусство скромности». Да так, чтоб тебя не заподозрили в «выскачках». «Скромность» до конца. Когда заведующий написал обо мне статью под заголовком «Пролетариат — в ряды ученых», я целую неделю не приходил в техникум и Ивану Якличу написал резкое письмо, упрекая его за «преждевременное оглашение» моей скромной тайны.

Федя, если бы ты видел, сколько и как извинялся зав и ухаживал за мной.

Это был мой «первый ход». Я даже сам, кажется, верю в возможность «поправки к Менделю». А дальше меня посылают в Москву, и я отказываюсь. Мол, старые ученые — консерваторы, метафизики — съедят меня. И когда было меня «затронули» эти ежи, я «скромненько» завопил: «Что я говорил? Съедят. Съедят эти реакционеры, идеалисты. Съедят. Уж начинают придирааться». И опять саботаж — две недели из дому никуда. Опять ухаживания да комиссия

для проверки тормоза в продвижении «советского ученого». Ну кому из ежей-ученых припадет после этого охота со мной связываться? «Не тронь навоз — не завоняет», — решили они.

Тогда я и опубликовал свое первое интервью о «перенесении частных признаков в наследство» со снимками куцых родителей и куцего потомства. А кстати и портрет свой. Ну-ка, пусть бы попробовали выступить против меня эти метафизики-идеалисты.

Ведь, Федя дорогой, ведь руки греют, пока дом горит. В чем тут секрет? Пока советская наука — очень молодые всходы. А всходы не полют из-за боязни потревожить молодые корешки, выдергивая «плевелы». Ведь пока подрастут советские ученые и большевики начнут «полоты», «очищать поле от плевелов», я уйду далеко — не догонишь.

Ведь в своей безумной радости бытия большевики готовы каждую былинку научную лбызать. Ведь, как ты знаешь, прошлый год в крупнейших советских газетах было опубликовано, что некто «инженер» Федоров 14 ноября полетит на Луну на изобретенном им аппарате. А чем я виноват, что из-за своего бескультурья большевики не могут плевелы отличить от пшеницы? Мне наплевать на их «исторически гнетом самодержавия обусловленное бескультурье». Пока подрастут советские ученые — уйду далеко. Я никому не давал права открывать у меня на «революционные издержки» куски с моего вкусного и питательного стола.

Я хочу жить хорошо, и чхать мне на то, что рабочие во всем посадили себя на «жестокую норму питания». Я узрел их безумье и не хочу ему служить.

Какое мне дело до того, что проведут они пятилетку или не проведут? Если не проведут, я голодать все равно не буду. Своих ученых Советская власть кормит не худо за счет отчислений от своего пайка. Ну и пусть какой-нибудь энтузиаст Сидорин еще хоть на дециметр стянет поясок у своего Колечки или у своей дочурочки и обойдется без мяса, без масла, уступив его мне. А если большевики проведут пятилетку — па-а-жа-луйста. Я вместе с ними «гордо вступлю» в социализм. Па-ажа-пажа...

В своей работе, Федя, у меня немало искусства. Не шути делом. От множества куцых родителей у меня все потомства рождаются с хвостиками, но я подкладываю в гнезда желатиновые капсульки, под животиками мышей, с отмораживающими средствами. От теплоты желатин тает, в жидкости, естественно, мышатки мажутся больше всего конечностями, и уже через пару дней в каждом потомстве у некоторых начинают «отмирать» хвосты. Выбраковываем. Хоть день и ночь следи за мной. Это я уже практикую и довожу этот прием до совершенства. А когда дойду до совершенства, тогда я назначу аспирантов на непрерывное дежурство следить за процессом «отмирания хвостов» и измерять их миллиметрами.

Милый Федя, ну чем я рискую? Пока большевики предоставляют науке «широкое поле», а когда «всходы окрепнут» и за меня в конце концов примутся, я воскликну: «Как вы, большевики, наступайте на горло науке? Разве я не имею права делать научные опыты? Ну, пусть я ошибался, пока не удалось, но потом, потом удастся». Да полегонечку за границу об этом шукну — мол, вот образец травли большевиками своих ученых.

Федя, мой решительный братский совет: я тебе рекомендую попробовать «изобрести» что-нибудь.

Послушай же моего совета и действуй быстро, напором.

Возьми за руководство «большевистские темпы».

Послушаешь меня — благословишь жизнь. Еще раз говорю: брось свой отроческий идеализм. Помни — «все на благо человека». Знай, Федя, что «чистота души» и так называемая порядочность сданы человечеством в музей еще в прошлом столетии. И, наконец, пиши, или я прекращу переписку с тобой.

Обнимаю тебя, родной,
твой брат Л. Клягин.

Письмо третье

«Наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович!

Спешим вас поздравить с успехом в делах рук ваших. От нашей супруги твоей супруге тоже поклон niskий.

Наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, наипаче благодарим вас, что ты выручил меня енотами. Все шкуры довез я в наилучшем виде и в сохранности упаковал про черный день. Ждите от меня гостинец в отблагодарность за твою заботу, что не забываете вы как своего друга и бывшего ротного фершала, которого вы по моей товарищеской дружбе в кличке Царем прозвали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.